

ДЖОНАТАН ФРАНЗЕН

П
Р
Е
К
Р
Е
Т
К
И

CoRpus

18+

РОМАН

Джонатан Франзен

Перекрестки

«Corpus (АСТ)»

2021

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Франзен Д.

Перекрестки / Д. Франзен — «Corpus (ACT)», 2021

ISBN 978-5-17-136266-9

Декабрь 1971 года, в Чикаго и окрестностях ожидается метель. Расс Хильдебрандт, священник одной из пригородных церквей, почти готов положить конец своему безрадостному браку, но тут выясняется, что и его жене, Мэрион, у которой есть собственные тайны, семейная жизнь тоже опостылела. Их старший сын, Клем, приезжает из университета домой, приняв решение, которое в скором времени потрясет Расса. Единственная дочь, Бекки, звезда школы, внезапно погружается в водоворот контркультуры, а третий из детей, Перри, продававший младшеклассникам наркотики, решает стать лучше. Каждый из Хильдебрандтов ищет свободы, а все остальные члены семьи мешают друг другу ее обрести. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-136266-9

© Франзен Д., 2021

© Corpus (ACT), 2021

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Адвент | 6 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 84 |

Джонатан Франзен Перекрестки

Посвящается Кэти

JONATHAN FRANZEN
CROSSROADS

Перевод с английского
Юлии Полешук



© Jonathan Franzen, 2021
© Rodrigo Corral, cover image
© Ю. Полешук, перевод на русский язык, 2022
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Издательство CORPUS ®
18+

АДВЕНТ

Небо, разбитое голыми ильмами и дубами Нью-Проспекта, наполнилось обещанием сырости, два атмосферных фронта сумеречно сговаривались о снеге на Рождество, а Расс Хильдебрандт поутру, как всегда, объезжал на “плимуте фьюри” своих выживших из ума подопечных, прикованных к постели. Одна особа, миссис Фрэнсис Котрелл, прихожанка его церкви, вызвалась вместе с ним отвезти игрушки и консервы в Общину Бога, и хотя он понимал, что вправе радоваться этому жесту доброй воли потому лишь, что он ее пастор, лучшего рождественского подарка, чем четыре часа наедине с ней, он не мог и желать.

После унижения Расса, случившегося тремя годами ранее, старший священник, Дуайт Хефле, увеличил своему заместителю пастырскую нагрузку. Как именно Дуайт распорядился временем, которое сэкономил ему Расс, неизвестно: правда, Дуайт теперь чаще ездил в отпуск и работал над сборником лирических стихотворений. Но Рассу нравилось, с каким кокетством встречала его миссис О’Дуайер, из-за сильных отеков после ампутации не встававшая с медицинской кровати, которую разместили в ее бывшей столовой. Ему нравилось изо дня в день быть полезным, особенно тем, кто в отличие от него уже не помнил, что случилось три года назад. В доме престарелых в Хинсдейле, где запахи праздничных хвойных венков мешались с вонью старческих испражнений (точь-в-точь как в уборных в горах Северной Аризоны), он протянул старому Джиму Деверо новый приходский фотоальбом, служивший им поводом к разговору, и спросил, помнит ли Джим семейство Паттисон. Для пастора, одержимого духом адвента, Джим был идеальным конфидентом, колодцем желаний, брошенная в который монета никогда не звякнет о дно и не вызовет отклика.

– Паттисон, – сказал Джим.

– У них была дочь, Фрэнсис. – Расс подался к креслу-каталке своего прихожанина, перелистал альбом до литеры “К”. – У нее теперь другая фамилия: она Котрелл, по мужу.

Дома Расс о ней не упоминал, даже если пришлось бы к слову, – опасался, что жена услышит в его голосе. Джим склонился над фотографией Фрэнсис и ее двух детей.

– Ах, Фрэнни? Как же, помню я Фрэнни Паттисон. Что с ней случилось?

– Вернулась в Нью-Проспект. Полтора года назад она овдовела, такое горе. Ее муж был летчиком-испытателем в “Дженерал дайнемикс”¹.

– И где она теперь?

– Вернулась в Нью-Проспект.

– Ах да. Фрэнни Паттисон. И где она теперь?

– Вернулась в родной город. Она теперь миссис Фрэнсис Котрелл. – Расс указал на снимок и повторил: – Фрэнсис Котрелл.

Они должны были встретиться в половину третьего на парковке Первой реформатской церкви. Но Расс приехал без четверти час, как мальчишка, которому хочется, чтобы поскорее пришло Рождество, и, сидя в машине, перекусил захваченными из дома сэндвичами. В неудачные дни, которых за последние три года случалось немало, он привык проникать в церковь извилистым окольным путем: через зал для собраний, вверх по лестнице, далее по коридору, сплошь уставленному стеллажами со списанными сборниками гимнов издательства “Пилгрим пресс”, через кладовку с покосившимися пюпитрами и вертепом (в последний раз его выставляли одиннадцать адвентов тому назад) – разномастные деревянные овцы и один-единственный жалкий вол, сереющий от пыли, с которым Расс ощущал печальное родство, – потом вниз по узкой лестничке, где лишь Господь способен его увидеть и осудить, в святая святых сквозь “потайную” дверь в панелях за алтарем (чтобы не проходить мимо кабинета Рика Эмб-

¹ Американская компания, один из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники.

роуза, директора молодежных программ). Толпившиеся в коридоре возле дверей Эмброуза подростки вряд ли присутствовали при унижении Расса, поскольку были тогда слишком малы, но наверняка слышали о случившемся, и Расс не мог смотреть на Эмброуза, не обнаруживая своей неспособности простить его по примеру Спасителя.

Сегодня, однако ж, день выдался на редкость удачный, и коридоры Первой реформатской церкви пока что пустовали. Расс прошел напрямик к себе, вкрутил лист бумаги в пишущую машинку и задумался над ненаписанной проповедью к воскресенью после Рождества, когда Дуайт Хефле снова укатит в отпуск. Он развалился в кресле, причесал ногтями брови, пощипал переносицу, провел ладонями по лицу, угловатые черты которого, с опозданием понял Расс, нравятся многим женщинам, не только его жене, и представил, как читает проповедь о рождественской поездке в Саут-Сайд. Он слишком часто проповедовал о Вьетнаме, слишком часто упоминал об индейцах навахо. Бестрепетно заявить с кафедры *“нам с Фрэнсис Котрелл выпала честь”*, произнести ее имя, когда она сидит в четвертом ряду и взгляды паствы, пожалуй, завистливо соединяют ее с ним, – этого удовольствия он, к сожалению, лишен, поскольку жена просматривает все его проповеди и тоже будет сидеть перед кафедрой, и жена не знает о том, что Фрэнсис сегодня поедет с ним.

На стенах кабинета висели плакаты (Чарли Паркер с саксофоном, Дилан Томас с сигаретой), в рамке – меньшая по размеру фотокарточка Поля Робсона и тут же афиша с выступлением в церкви Джайсона в 1952-м, диплом Нью-Йоркской духовной семинарии, увеличенная фотография Расса с двумя друзьями-навахо в Аризоне в 1946-м. Десять лет назад, когда он стал помощником священника в Нью-Проспекте, эти искусно подобранные свидетельства его взглядов откликались в душах подростков, чье развитие во Христе входило в сферу его обязанностей. Но молодежь в банданах, клешах и комбинезонах, что ныне толкалась в коридорах церкви, считала их пережитками прошлого. Рик Эмброуз, с его тонкими слипшимися волосами и блестящими черными усами на манер Фу Манчу², устроил в своем кабинете подобие детского сада: на стенах и полках грубо раскрашенные плоды самовыражения его подопечных, проникнутые особым смыслом ожерелья из побелевших костей, камешков и полевых цветов, подаренные детьми, нарисованные по трафаретам афиши благотворительных концертов, не имеющих отношения ни к одной из известных Рассу религий. После пережитого унижения он укрылся в своем кабинете и страдал в окружении блекнувших тотемов своей юности, не интересовавших более никого, кроме его жены. А Мэрион не в счет, поскольку именно Мэрион убедила его поехать в Нью-Йорк, Мэрион приохотила его к Паркеру, Томасу, Робсону, Мэрион восторгалась его рассказами о навахо, уговорила его последовать зову сердца и стать священником. Мэрион неотделима от ипостаси, принесшей ему унижение. Чтобы это исправить, ему нужна Фрэнсис Котрелл.

– Боже мой, это ты? – спросила она прошлым летом, когда впервые попала к нему в кабинет и рассматривала фотографию резервации навахо. – Похож на Чарлтона Хестона³ в молодости.

Она пришла к Рассу за советом, как пережить утрату: беседы с теми, кто недавно похоронил близкого человека, – еще одна его обязанность, причем нелюбимая, поскольку самой тяжелой его потерей пока что была смерть Скиппера, собаки, которая была у него в детстве. К облегчению Расса оказалось, что через год после того, как муж принял огненную смерть в Техасе, сильнее всего Фрэнсис гнетет пустота. От предложения Расса вступить в один из приходских женских кружков Фрэнсис отмахнулась.

² То есть с длинными вислыми усами. Доктор Фу Манчу – литературный персонаж, придуманный британским писателем Саксом Ромером; воплощение зла.

³ Чарлтон Хестон (1923–2008) – американский актер, лауреат премии “Оскар”.

– Не хочу я пить кофе с дамами, – сказала она. – У меня, конечно, сын вот-вот перейдет в старшую школу, но мне-то всего тридцать шесть.

На ней и правда не было ни складочки, ни морщинки, ни жиринки, ни дряблинки – воплощенная энергичность в облегающем, с узором в огурцах платье без рукавов, светлые от природы волосы острижены коротко, как у мальчишки, ладошки маленькие, широкие, тоже как у мальчишки. Расс не сомневался, что она недолго пробудет одна, и пустота, которая ее мучит, скорее всего, лишь отсутствие мужа, но помнил он и то, как разозлился на мать, когда она, едва ли не на другой день после смерти Скиппера, спросила, не хочет ли сын завести собаку.

Он сказал Фрэнсис, что есть особый женский кружок, не такой, как все остальные, и ведет его лично Расс: этот кружок работает с прихожанами Общины Бога, братской церкви из бедного района.

– Наши дамы кофе не пьют, – пояснил он. – Мы красим дома, стрижем кусты, выносим мусор. Возим стариков к врачу, помогаем детям с уроками. Мы занимаемся этим раз в две недели, по вторникам, с утра и до вечера. И я с нетерпением жду этих вторников, уж поверь. Вот тебе один из парадоксов нашей веры: чем больше отдаешь несчастным, тем ближе чувствуешь себя к Христу.

– Ты так запросто произносишь Его имя, – заметила Фрэнсис. – Я хожу на воскресную службу вот уже три месяца и до сих пор ничего не почувствовала.

– То есть даже мои проповеди тебя не трогают.

Она очаровательно покраснела.

– Я не это имела в виду. У тебя красивый голос. Но...

– Сказать по правде, ты скорее почувствуешь что-то в такой вот вторник, чем в воскресенье. Мне самому куда больше нравится бывать в Саут-Сайде, чем читать проповеди.

– Это негритянская церковь?

– Да, это церковь чернокожих. Верховодит у нас Китти Рейнолдс.

– Мне нравится Китти. В выпускном классе она вела у меня английский.

Рассу тоже нравилась Китти, но он чувствовал, что она его недолго любит как представителя мужского пола; Мэрион заронила в его голову мысль, что Китти, никогда не бывавшая замужем, скорее всего, лесбиянка. Для поездок в Саут-Сайд она одевалась, как лесоруб, и мигом присвоила Фрэнсис – настояла, чтобы та туда и обратно ехала с ней, а не в “универсале” Расса. Помня ее неприязнь, он уступил ей победу и дождался момента, когда Китти захворает и никуда не поедет.

Во вторник после Дня благодарения, когда всю ходили то ли грипп, то ли простуда, на парковку Первой реформатской церкви пришли только три дамы (все – вдовы). Фрэнсис, в шерстяной клетчатой кепке с ушами наподобие той, которую Расс носил в детстве, запрыгнула на переднее сиденье “фьюри”, но кепку не сняла – может быть, потому что печь в машине была не совсем исправна и, чтобы лобовое стекло не запотело, приходилось держать окно открытым. Или она догадалась, до чего андрогинно-прелестной казалась Рассу в этой кепке – настолько, что у него перехватило дыхание и вера его дрогнула перед соблазном? Сидящие сзади две старшие вдовы, вероятно, поняли это, потому что всю дорогу до города – мимо аэропорта Мидуэй, потом через Пятьдесят пятую улицу – донимали Расса демонстративно-язвительными расспросами о жене и четырех детях.

Община Бога ютилась в построенной немцами церквушке без шпиля из желтого кирпича; сбоку к церквушке лепился зал собраний с толевой крышей. Паству, состоявшую преимущественно из женщин, окормлял Тео Креншо, еще не старый пастор, который в виде одолжения без благодарностей принимал помощь их пригородного кружка. Раз в две недели по вторникам Тео вручал Рассу и Китти список первоочередных дел: они приезжали не проповедовать, а служить. Китти вместе с Рассом ходила на демонстрации за гражданские права, а вот остальным участникам кружка приходилось напоминать: если они с трудом разбирают речь “горо-

жан”, это еще не значит, что им самим нужно говорить медленно и громко, чтобы их поняли. Тем из прихожанок, кто это усвоил и научился без страха ходить по кварталам в районе пересечения Саут-Морган и 67-й улицы, кружок дарил незабываемый опыт. Тех же, кто этого не усвоил (некоторые из дам присоединились к кружку затем лишь, чтоб доказать, что они не хуже других), Расс вынужден был подвергнуть такому же унижению, какое сам претерпел от Рика Эмброуза, и попросить их больше туда не ездить.

Фрэнсис еще не прошла проверку, поскольку Китти не отпускала ее от себя ни на шаг. Теперь же, когда они прибыли на Морган-стрит, Фрэнсис неохотно вылезла из машины и дожидалась, пока ее попросят помочь Рассу и двум вдовам отнести в зал собраний ящики с инструментами и коробки с ношеной зимней одеждой. Ее нерешительность породила в Рассе бурю дурных предчувствий (он опасался, что принял форму за содержание, кепку за рискованную натуру), но их развеял порыв сочувствия, когда Тео Креншо, не обращая внимания на Фрэнсис, отправил двух старших вдов составлять каталог привезенных подержанных книг для воскресной школы. Мужчинам предстояло смонтировать в подвале новый водонагреватель.

– А Фрэнсис? – спросил Расс.

Она стояла у входа. Тео смерил ее равнодушным взглядом.

– Там целая куча книг.

– Почему бы тебе не помочь нам с Тео? – предложил Расс.

Живость ее кивка подкрепила его инстинктивное сочувствие, рассеяв подозрение, будто бы на самом деле ему хотелось покрасоваться перед нею, показать, какой он сильный, как мастерски владеет инструментами. В подвале он разоблачился до футболки, по-медвежьи облапил дрянной старый водонагреватель и снял его с подставки. В свои сорок семь Расс уже не был тонким, как молодое деревце: плечистый, широкогрудый, крепкий, как старый дуб. Для Фрэнсис в подвале дела не нашлось, ей оставалось лишь наблюдать, и когда входная труба оторвалась от стены, так что пришлось пустить в ход винторез и долото, Расс не сразу заметил, что Фрэнсис ушла.

Больше всего Рассу в Тео нравилась его сдержанность, избавлявшая Расса от тщеславных мечтаний, будто бы между ними может завязаться межрасовая дружба. Тео знал о Рассе главное: он не чурается тяжелой работы, всю жизнь живет на грани нищеты, верит в божественную природу Иисуса Христа – а вопросы, подразумевающие пространный ответ, Тео не задавал и не одобрял. О том же отсталом парнишке по имени Ронни, который жил по соседству, в любое время года забредал в церковь, то, зажмурясь, качался в причудливом танце, то выпрашивал четвертаки у дам из Первой реформатской, Тео всегда говорил: “Оставьте его в покое”. Расс пытался заговорить с Ронни, спрашивал, где тот живет, кто его мама, Ронни неизменно отвечал: “Дай четвертак”, а Тео бросал, уже резче: “Оставьте его в покое”.

Фрэнсис об этом не предупредила. В обеденный перерыв они застали Ронни с коробкой карандашей на полу общей комнаты. Ронни в ношеной парке, явно прибывшей из Нью-Проспекта, стоял на коленях и, покачиваясь, наблюдал, как Фрэнсис рисует на газетном листе оранжевое солнце. Тео застыл, что-то пробормотал и покачал головой. Фрэнсис протянула Ронни свой карандаш и радостно взглянула на Расса. Она нашла свой способ служить и отдавать себя, и он радовался за нее.

А вот Тео нет.

– Поговорите с ней. Объясните ей, что Ронни лучше не трогать, – сказал Тео Рассу в алтаре.

– Я думаю, она его не обидит.

– Дело не в том, обидит или нет.

Тео отправился домой (жена ждала его с горячим обедом), а Расс, не желая душиТЬ благой порыв Фрэнсис, взял пакет с ланчем и отправился в класс воскресной школы, где старшие вдовы затеяли перестановку. Тот, кто страдает телесно, отдается в чужие руки; страдающий

от нищеты отдает в чужие руки свое обиталище. Не спрашивая разрешения, вдовы рассортировали детские книжки, налепили на них симпатичные яркие ярлыки. Тот, кто беден, понимает, что требовалось сделать, лишь когда это сделали за него. Расс не сразу привык, что не нужно спрашивать разрешения, но была в этом и обратная сторона: благодарности ожидать тоже не следовало. Принимаясь за задний двор, поросший ежевикой и амброзией, доходившей ему до плеч, он не спрашивал у старушки-хозяйки, от каких кустов и какой ржавеющей рухляди можно смело избавиться, а когда заканчивал, старушка его не благодарила. “Ну вот, так гораздо лучше”, – говорила она.

Он беседовал с двумя вдовами, как вдруг внизу хлопнула дверь и послышался гневный женский крик. Расс вскочил и бросился вниз, в общую комнату. Фрэнсис, сжимая в руках газетный лист, пятилась от молодой женщины, которую Расс прежде не видел. Худосочная, с невымытой головой. Расс с порога почуял, что от женщины тянет спиртным.

– Это *мой* сын, поняла? Мой.

Ронни по-прежнему раскачивался, стоя на коленях с карандашами в руках.

– Эй, эй, – сказал Расс.

Молодая женщина стремительно обернулась.

– Ты ее муж?

– Нет, я пастор.

– А раз пастор, так скажи ей, чтоб отвалила от моего сына. – Она повернулась к Фрэнсис. – Слышь ты, сука, отвали от него! Что у тебя там?

Расс встал между женщинами.

– Мисс... Пожалуйста.

– *Что у тебя там?*

– Рисунок, – ответила Фрэнсис. – И очень красивый. Его Ронни нарисовал. Правда, Ронни?

На газетном листе алела каляка-маляка. Мать Ронни вырвала у Фрэнсис рисунок.

– Дай сюда, не твое.

– Да, – сказала Фрэнсис. – Думаю, он нарисовал это для вас.

– Я не ослышалась? Она еще смеет со мной разговаривать?

– Пожалуй, нам всем нужно успокоиться, – вклинился Расс.

– Это ей нужно убрать отсюда свою белую задницу и не лезть к моему ребенку.

– Прошу прощения, – произнесла Фрэнсис. – Он такой милый, и я всего лишь...

– *Почему она все еще со мной разговаривает!* – Мать порвала рисунок на четыре части и рывком подняла Ронни на ноги. – Я тебе говорила, чтобы ты к ним не совался. Разве я тебе не говорила?

– Не помню, – ответил Ронни.

Она влепила ему пощечину.

– Ах, не помнишь?

– Мисс, – вмешался Расс, – если вы еще раз ударите мальчика, у вас будут неприятности.

– Ага, как же. – Она направилась к выходу. – Пошли, Ронни. Нечего нам тут делать.

Едва они ушли, как Фрэнсис расплакалась, он обнял ее, чувствуя, как в каждом содрогании изживает себя ее страх, отметил про себя, как точно ее худые плечи поместились в его сомкнутые руки, какая изящная у нее головка, и сам едва не прослезился. Им следовало спросить разрешения. Ему следовало приглядывать за Фрэнсис. Ему следовало настоять, чтобы она помогла старшим вдовам разбирать книги.

– Наверное, это не по мне, – сказала она.

– Тебе просто не повезло. Я никогда ее здесь не видел.

– Я их боюсь. Она это почувствовала. А ты не боишься, вот она тебя и послушалась.

– Если будешь чаще сюда приезжать, постепенно привыкнешь.

Она недоверчиво покачала головой.

Когда Тео Креншо вернулся с обеда, Расс постыдился рассказать ему о случившемся. Он не думал, чем займутся они с Фрэнсис, ни о чем в особенности не мечтал: ему всего лишь хотелось быть с ней рядом, и вот теперь, по заблуждению и тщеславию, он упустил возможность дважды в месяц видаться с нею. Глупо желать женщину, которая тебе не жена, но он даже сглупил по-глупому. Что за вопиюще пассивное решение – привести ее в подвал. Раз он вообразил, будто, понаблюдав за его работой, она захочет его так же, как он хочет ее, наблюдая за тем, как она делает что угодно, значит, он точно относится к тому типу мужчин, кого такая женщина, как она, нипочем не захочет. Ей было скучно за ним наблюдать, и он сам виноват в том, что случилось дальше.

В машине, когда они медленно ехали обратно в Нью-Проспект, Фрэнсис молчала, пока одна из старших вдов не спросила, нравится ли ее сыну, десятикласснику Ларри, в “Перекрестках”. Расс понятия не имел, что сын Фрэнсис вступил в молодежную группу при церкви.

– Рик Эмброуз гений, не иначе, – ответила Фрэнсис. – Когда я училась в школе, в эту группу ходило от силы человек тридцать.

– Вы тоже в нее ходили? – уточнила старшая вдова.

– Не-а. Там было маловато симпатичных парней. Точнее, вообще ни одного.

“Гений”, сказала Фрэнсис, и Рассу точно кислотой на мозги плеснули. Ему следовало проявить выдержку, но в неудачные дни у него не получалось не делать того, о чем он впоследствии жалел. Он словно бы делал это *именно потому*, что впоследствии пожалеет. Терзаясь стыдом при мысли о случившемся, укоряя себя в одиночестве, он возвращал себе Божью милость.

– А знаете, почему группа называется “Перекрестки”? – спросил он. – Рик Эмброуз думал, что дети слышали эту песню.

Это была постыдная полуправда. Название группы предложил Расс.

– Я спросил его, не мог не спросить, слышал ли он оригинал Роберта Джонсона⁴, и по глазам понял, что нет. Потому что для него, видите ли, история музыки начинается с “Битлз”. Уж поверьте, я слышал, как “Крим” поют “Перекрестки”. Я знаю, о чем говорю. Эти англичане сперли песню у нашего чернокожего маэстро блюза и сделали вид, будто *сами ее* написали.

Фрэнсис, в охотничьей кепке, не сводила глаз с едущего впереди грузовика. Старшие вдовы, затаив дыхание, слушали, как помощник священника поливает грязью директора молодежных программ.

– Кстати, у меня есть оригинальная версия джонсоновских “Перекрестков”, – отвратительно расхвастался Расс. – Когда я жил в Гринич-Виллидже (я ведь когда-то жил в Нью-Йорке), частенько находил на барахолках старые пластинки. Во время Депрессии фирмы грамзаписи пошли в народ и отыскивали удивительных самобытных исполнителей – Ледбелли, Чарли Паттона, Томми Джонсона. Я тогда вел продленку в Гарлеме, по вечерам возвращался домой, ставил эти пластинки и словно переносился на юг в двадцатые. Сколько же было *боли* в этих старых голосах. Они помогли мне лучше понять ту боль, с которой я сталкивался в Гарлеме. Блюз-то, он ведь об этом. А когда белые группы начинают его копировать, это как раз исчезает. Я не слышу в этой новой музыке никакой боли.

Повисло неловкое молчание. Пастельные тона последнего ноябрьского дня тускнели под облаками на пригородном горизонте. Теперь у Рассы было более чем достаточно поводов устыдиться, более чем достаточно, чтобы не сомневаться: он мучается по заслугам. Ощущение правоты в завершение худших дней, чувство, что он вернулся домой, – все это убеждало его: Бог есть. Вот и сейчас, направляясь к угасающему свету, он предвкушал воссоединение с Ним.

⁴ Роберт Лерой Джонсон (1911–1938) – американский певец, гитарист и автор песен, один из самых известных блюзменов XX века. Блюз “Перекрестки” (“Cross Road Blues”, или просто “Crossroads”) вышел в 1937 г.

На стоянке Первой реформатской, когда прочие вдовы уже ушли, Фрэнсис спросила:

– Почему она разозлилась на меня?

– Мать Ронни?

– Со мной никто никогда так не разговаривал.

– Мне очень жаль, что так вышло, – сказал Расс. – Но я не случайно упомянул о боли.

Представь, что ты очень бедна и единственное, что у тебя есть, это твои дети: никому, кроме них, ты не нужна, и никому, кроме них, нет до тебя дела. Что бы ты сказала, если бы какая-то чужая тетка была с ними ласковее, чем ты? Можешь себе представить, каково это?

– Я бы тогда сама постаралась быть с ними ласковее.

– Да, но это потому, что ты не бедна. Когда человек беден, он никак не может повлиять на то, что с ним происходит. Ему кажется, будто он вообще ничего не контролирует. Ему остается лишь уповать на милость Божью. Потому-то Иисус и учит нас, что блаженны нищие: когда у тебя ничего нет, ты становишься ближе к Богу.

– Не очень-то эта женщина близка к Богу.

– Почем тебе знать. Да, она озлобленная, неустроенная...

– И пьяная в хлам.

– И пьяная в хлам среди бела дня. Но даже если эти вторники ничему нас не учат, нам не стоит судить бедняков. Мы можем лишь постараться служить им.

– Ты хочешь сказать, я сама во всем виновата?

– Вовсе нет. Ты прислушалась к доброму голосу в своем сердце. В чем тут вина?

Расс слышал добрый голос и в своем сердце: он по-прежнему может быть ей хорошим пастырем.

– Я понимаю, когда ты расстроен, трудно что-то понять, – мягко продолжал он, – но с тем, с чем ты столкнулась сегодня, жители этого квартала сталкиваются ежедневно. Оскорбления, расовые предрассудки. И я понимаю, тебе тоже довелось пережить боль, я даже представить себе не могу, что тебе пришлось вынести. Если решишь, что с тебя хватит боли и ты пока не хочешь нам помогать, я тебя не осужу. Но у тебя есть возможность (если, конечно, ты готова) претворить боль в соболезнование. Когда Иисус говорит нам подставить другую щеку, что он на самом деле имеет в виду? Что тот, кто нас обижает, закоренелый негодяй и надо с этим смириться? Или же Он напоминает нам, что это человек, такой же, как и мы сами, и этот человек так же чувствует боль? Я понимаю, это трудно осмыслить, но всегда можно взглянуть на вещи с такой точки зрения, и я считаю, нам всем следует к этому стремиться.

Фрэнсис задумалась над его словами.

– Ты прав, – сказала она. – Но мне такую точку зрения принять непросто.

Тем все и кончилось. Назавтра он позвонил ей, как поступил бы всякий хороший пастырь, и она сказала, что ей сейчас не до разговоров: у дочери простуда. В следующие два воскресенья он не видел ее на службе, и через две недели она не поехала в Саут-Сайд. Он подумывал позвонить ей еще раз, пусть для того лишь, чтобы добавить себе новых поводов устыдиться, но острота утраты сливалась с сумеречными зимними днями и долгими ночами. В конце концов он все равно потерял бы ее – самое позднее, когда один из них умрет, но, скорее всего, гораздо раньше, – а в том, чтобы восстановить связь с Богом, он нуждался так неотложно, что ухватился за боль едва ли не с жадностью.

Но четыре дня назад она сама позвонила ему. Сказала, что сильно простудилась, но все время думала о сказанном им в машине. Вряд ли ей хватит сил сравниться с ним, но ей кажется, худшее позади, а Китти Рейнолдс обмолвилась, что они повезут в Саут-Сайд подарки на Рождество. Можно ли ей поехать с ними?

Расс возрадовался бы и как ее пастырь, ее советчик, но тут Фрэнсис спросила, не даст ли он ей послушать пластинки с блюзом.

– Наш проигрыватель берет семьдесят восемь оборотов, – добавила она. – Я подумала, если уж я собираюсь этим заниматься, неплохо бы попытаться понять их культуру.

Расс поморщился на словах “*их культуру*”, но даже он глупил не настолько глупо, чтобы не догадаться, что означает ее просьба. Он поднялся на неотопливаемый третий этаж своего громоздкого приходского дома и добрый час простоял на коленях, выбирая и откладывая в сторону пластинки, пытаясь угадать, какая десятка лучших вероятнее всего вызовет в ней те же чувства, что он питает к ней. Связь с Богом исчезла, но сейчас его это не беспокоило. А беспокоила его Китти Рейнолдс. Ему непременно нужно остаться с Фрэнсис наедине, но Китти проныцательна, а он никудышный лжец. Все хитрости, которые он придумал (например, сообщить Китти, что встреча в три, а самому уехать с Фрэнсис в половине третьего), обязательно вызовут у Китти подозрение. Он не видел иного выхода, кроме как сказать ей всю (ну, почти всю) правду: Фрэнсис пережила небольшое потрясение, и ему необходимо остаться с нею наедине, когда она, собравшись с духом, вновь приедет туда, где это случилось.

– Похоже, – ответила Китти, когда он позвонил ей, – вы провалили дело.

– Ваша правда, провалил. И теперь мне нужно постараться восстановить ее доверие. Отрадно, что она хочет вернуться, но ситуация щекотливая.

– И еще она симпатичная, и еще Рождество. Будь на вашем месте кто-то другой, я усомнилась бы в чистоте его намерений.

Расс не понял, что она имеет в виду: то ли считает его безусловно хорошим и порядочным, то ли безусловно бесполом, безобидным и вообще не мужчиной. Как бы то ни было, от этого предстоящее свидание с Фрэнсис казалось восхитительно незаконным. Предвкушая его, он тайком перенес из дома в церковь стопку отобранных блюзовых пластинок и старую замызганную дубленку из Аризоны, которая, надеялся Расс, придаст ему удачи. В Аризоне он слыл удалцом – и считал, справедливо или нет, что именно брак лишил его этого качества. После его унижения Мэрион из солидарности возненавидела Рика Эмброуза, стала звать его “*этот мошенник*”, но Расс ее осадил, напустился на нее, заявил, что Рик, конечно, много кто, но никак не мошенник, просто он, Расс, утратил былую удачу, разучился находить общий язык с молодежью. Он занимался самобичеванием и возмущался, что Мэрион мешает ему получать от этого удовольствие. Последующий ежедневный его позор, который он чувствовал и когда случалось пройти мимо кабинета Эмброуза, и когда он трусливо пускался в обход, приближал его к страстям Христовым. Эти страдания подпитывали его веру, тогда как чересчур нежное прикосновение руки Мэрион к его руке, когда она пыталась его утешить, заключало в себе страдание без душевной пользы.

Из своего кабинета – дело близилось к половине третьего, лист в его машинке по-прежнему был пуст – Расс слышал гомон подростков, слетавшихся после занятий к Эмброузу, точно пчелы на мед, слышал их топот, их брань, которую мистер Черт-Хрен-Дерьмо поощрял, поскольку сам беспрестанно ругался. Сейчас в “Перекрестки” ходили сто двадцать с лишним человек, в том числе и двое детей Расса, и можно догадаться, как сильно он увлекся Фрэнсис, как волновался, предвкушая встречу с нею, если только теперь, поднявшись из-за стола и накинув дубленку, сообразил, что они могут столкнуться с его сыном Перри.

Незадачливые преступники никогда не учитывают очевидного. Отношения с дочерью, Бекки, испортились после того, как в октябре она нежданно-негаданно вступила в “Перекрестки”, но Бекки, по крайней мере, знала, что этим глубоко оскорбила отца, и в церкви после уроков не попадалась ему на глаза. Перри же такт был неведом. Перри, чей коэффициент умственного развития равнялся ста шестидесяти, видел слишком многое и слишком много посмеивался над тем, что видел. Перри ничего не стоит заговорить с Фрэнсис – вроде как и искренно, и с уважением, на деле же ни так, ни эдак, – да и дубленку он наверняка заметит.

Расс мог бы дойти до стоянки окольным путем, но мужчина, каким он решил быть сегодня, нипочем не прибежит к такому. Он расправил плечи, специально оставил пластинки

в кабинете, чтобы у них с Фрэнсис появился повод вернуться сюда вечером в темноте, и вышел в пелену дыма от сигарет дюжины подростков, толпившихся в коридоре. Перри не было видно. Упитанная девица с розовыми, как яблочки, щечками весело развалилась на коленках у трех парней, сидевших на продавленной старой тахте, которую кто-то, невзирая на тихие возражения Расса Дуайту Хефле (коридор предназначался для эвакуации при пожаре), притащил для молодежи, дожидавшейся своей очереди получить от Эмброуза с глазу на глаз в его кабинете суровый, но искренне ласковый нагоняй.

Потупясь, Расс двинулся вперед, перешагивая через ноги в джинсах и кроссовках. Поравнявшись с кабинетом своего противника, он краем глаза заметил, что дверь приоткрыта, и услышал *ее* голос.

И невольно застыл как вкопанный.

– Это просто замечательно, – щебетала Фрэнсис. – Год назад мне приходилось загонять его в церковь практически под дулом пистолета.

В щель Эмброуза видно не было – только обтрепанные манжеты его джинсовой рубахи да стоптанные рабочие ботинки. Фрэнсис сидела на стуле лицом к коридору. Она заметила Расса, помахала ему и спросила:

– Увидимся на парковке?

Одному Богу ведомо, какую Расс в эту минуту скроил гримасу. Он двинулся дальше, не глядя проскочил мимо главного входа и очутился на улице возле зала для собраний. Сквозь широкие пробоины в корпус его корабля хлынул мрак вод⁵. Глупость – как можно было не догадаться, что она пойдет к Эмброузу? Провидческая уверенность в том, что Эмброуз отберет ее у него. Вина за то, что ожесточил сердце против жены, которую клялся лелеять. Тщеславие – он-то поверил, что в дубленке выглядит кем угодно, но только не самодовольным, старомодным, отвратительным клоуном. Ему хотелось содрать с себя дубленку, вернуть привычное шерстяное пальто, но смелости не хватило вновь шагнуть в коридор, и вдобавок Расс опасался, что если пойдет в обход и в теперешнем своем состоянии увидит пыльный вертеп, то ударится в слезы.

“Господи, – взмолился он из мерзости своей дубленки, – пожалуйста, помоги мне”.

Если Господь и ответил на его молитву, то лишь напоминанием: переносить скорби надо смиренно, думать о бедных, служить им. Расс сходил в кабинет церковного администратора и отнес на стоянку коробки с игрушками и консервами. С каждым мигмом осененный запоздалым озарением день становился все отвратительней. Зачем ей эта встреча с Эмброузом? Что они так долго обсуждают? Все игрушки казались новыми или достаточно крепкими, чтобы сойти за новые, но следующие минуты Расс пережил лишь потому, что рылся в коробках с провизией, убирал ленивые или бездумные дары (коктейльный лук, водяные орехи) и находил утешение в тяжеленьких банках свинины и фасоли, “Шеф Боярди”⁶, персиков в сиропе: подумать только, как обрадуется им тот, кого томит настоящий голод, а не духовный, как Расса.

Без восьми минут три из церкви вприпрыжку, точно мальчик, выбежала Фрэнсис. На ней была охотничья кепка и клетчатое шерстяное пальто.

– А где Китти? – весело спросила она.

– Она испугалась, что не влезет из-за всех этих коробок.

– Так она не поедет?

Расс не решился поднять на нее глаза, а потому и не понял, огорчилась она или, еще хуже, заподозрила что-то. Он покачал головой.

– Ну и зря, – сказала Фрэнсис. – Я села бы к ней на колени.

– Ты не возражаешь?

⁵ Аллюзия на Пс.17:12: “И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных”.

⁶ Марка консервированных макаронных изделий.

– Возражаю? Почту за честь! У меня сегодня *особенное* настроение. Я преодолела препятствие.

И она сделала грациозное балетное па, олицетворяющее преодоление препятствия. Интересно, подумал Расс, она с таким настроением пришла к Эмброузу или вышла от него.

– Вот и хорошо. – Он хлопнул задней дверью “фьюри”. – Пожалуй, нам пора.

Это был легчайший намек на ее опоздание, единственный, который он собирался себе позволить, но и этого она не уловила.

– Мне что-то нужно взять с собой?

– Нет. Только себя.

– Единственное, без чего я никогда не выхожу из дома! Только проверю, заперла ли я машину.

Она вприпрыжку побежала к своей машине (новее, чем у него). Казалось, Фрэнсис в эту минуту полна такой радости, какой он не чувствовал не то что теперь, а за всю жизнь. И Мэрион, конечно, тоже.

– Ха! – крикнула Фрэнсис с другого конца парковки. – Заперла!

Он показал ей два больших пальца. Он никогда никому не показывал два больших пальца. И от неловкости усомнился, правильно ли сделал этот жест. Расс огляделся по сторонам, чтобы убедиться, не видел ли его кто-нибудь (особенно Перри). Но никого не заметил, кроме пары подростков с гитарами в футлярах: мальчишки шагали к церкви, не глядя в его сторону (может, и специально). Одного из них Расс знал с тех пор, когда тот учился во втором классе воскресной школы.

Интересно, каково это – жить с человеком, который умеет радоваться?

Когда он садился в машину, одинокая рыхлая снежинка, первая из множества тех, которые весь день обещало небо, опустилась ему на руку и растаяла. Садящаяся с другой стороны Фрэнсис сказала:

– Классный тулупчик. Где ты его оторвал?

Установлено: душа неизменна и не зависит от тела. Первый оратор, доказывающий это утверждение: Перри Хильдебрандт, средняя школа Нью-Проспекта.

Кхм.

Как бы ни был велик соблазн, давайте все же не ошибемся и не истолкуем неправильно ощущение, знакомое каждому, кто достоин называться укурком – вот ты здесь, делаешь что-то (скажем, пытаешься открыть пакет зефира на кухне Анселя Родера) и в следующий миг обнаруживаешь, что твоя телесная сущность занята совершенно другим в совершенно другой обстановке. Подобные пространственно-временные элизии, или (как их принято именовать, пусть и некорректно) “отключки”, не обязательно свидетельствуют о разделении души и тела: их объяснит любая сколь-нибудь стоящая механистическая теория сознания. Вместо этого давайте начнем с вопроса, который на первый взгляд может показаться тривиальным, риторическим или вовсе лишенным смысла: Почему я – это я, а не кто-то другой? Давайте же всмотримся в головокружительные глубины этого вопроса...

Любопытно, как замедлялось время, практически останавливалось, когда ему было хорошо: замечательно (но и нет, из-за предвещенной этим бессонной ночи), сколько кругов описывал его мозг в те секунды, за которые он одолевал один-единственный лестничный марш. Пульсирующая сиюминутность происходящего, когда тело и душа – единое целое, когда его кожа отмечает каждый градус понижения температуры по мере того, как он приближается к третьему этажу Сраного Дома, его нос – затхлость холодного воздуха, текущего вниз, к двери у подножия лестницы, он оставил дверь открытой на случай, если мать внезапно вернется домой, уши его – уверения, что мать еще не вернулась, сетчатка – проясневший декабрьский сумрак в более близком к небу окне без прежней густой листвы, душа – знакомое почти до состояния дежавю ощущение, когда в одиночестве поднимаешься по ступенькам.

Один раз, один лишь раз он спросил высшие силы, нельзя ли ему занять одну из комнат третьего этажа, – точнее, не спросил, а резонно заметил, насколько третий этаж подходит третьему ребенку, кем он, собственно, был, а когда с материнских высот спустился ответ (нет, милый, зимой там чересчур холодно, а летом чересчур жарко, и Джадсону нравится жить в одной комнате с тобой), он принял его без возражений и новых просьб, поскольку, по собственному его рациональному суждению, единственный из всех детей в семье не имел никакого права на собственную комнату, так как не был ни старшим, ни младшим, ни самым красивым, а он привык оперировать на уровне рациональности, недоступном для прочих.

Несмотря на это, Перри считал третий этаж своим. Не одну струйку дыма он выдохнул в окно кладовой, не один столбик пепла стряхнул на засыпанный цветочной пылью наружный подоконник, и кабинет Преподобного Отца, куда он теперь предерзостно вторгся, не имел от него секретов. Перри прочел, отчасти из любопытства, отчасти чтобы проверить, каким презренным червем способен быть, всю добрачную переписку матери с отцом – кроме тех двух писем, которые отец так и не распечатал. Без особого оптимизма поискав “Плейбой”, Перри раскопал стопки отцовых журналов, “Свидетелей” и “Других сторон”, плоды умов столь деревянных, что из них не выжать ни капли сладости, и годовую подшивку “Психологии сегодня”, в одном из журналов наткнулся на слова “клитор” и “клиторальный оргазм”, увы, без иллюстраций. (Отец Ансея Родера хранил коллекцию “Плейбоев” в картонных коробках с откидными крышками и наклейками с годами выпуска – впечатляюще, но начисто отбивает охоту стащить журнал.) Пластинки Преподобного с джазом и блюзом – всего лишь немая пластмасса в гниющих конвертах, а старые пальто в чулане со скошенным потолком ничуть его не привлекали, поскольку были скроены на человека гораздо крупнее, чем Перри, который чувствовал, буквально нутром, что так и останется самым мелким из всего Хильдебрандтова помета, хотя годом ранее неожиданно пошел в рост: так сигнальная ракета взлетает под неверным углом и с глухим хлопком угасает. Чулан интересовал его лишь в декабре, когда пол его был уставлен подарками.

Стоит отметить тот факт, возможно, имеющий отношение к вопросу о неизменности души, что человек по имени Перри Хильдебрандт просуществовал на свете девять Рождеств, сознание же его прожило и профункционировало пять из них, прежде чем он наконец догадался: подарки, появляющиеся в сочельник под елкой, *явно пробыли, еще без обертки, в доме несколько дней или даже недель до своего появления*. Слепота его была никак не связана с Санта-Клаусом. О Санте Хильдебрандты всегда говорили: ну вот еще, ерунда. И все же, уже давно выйдя из возраста осознания, что подарки не покупают и не заворачивают себя сами, он воспринимал их ежегодное появление если не как чудо, то как процесс сродни наполнению мочевого пузыря: как часть естественного мироустройства. Как же он в девять лет не постиг истину, которая в десять стала ему очевидна? Налицо эпистемологическая дизъюнкция. Его девятилетняя личность казалась ему совершенно чужой, и не в хорошем смысле. Она таила смутную угрозу для повзрослевшего Перри, поневоле заподозрившего: несмотря на то что ангельское личико на снимках шестьдесят пятого года было, бесспорно, его, души у этих двух Перри разные. То есть произошла какая-то подмена. В таком случае, откуда взялась его теперешняя душа? И куда подевалась та, другая?

Он открыл дверь чулана и упал на колени. Нагота подарков на полу была печальным предвестием их нагого будущего после недолгой фальшивой оберточной славы. Рубашка, велюровый пуловер, носки. Свитер в цветастых ромбах, еще носки. Перехваченная лентой коробочка из универмага “Маршалл филдс” – шикарная вещь! Легонько встряхнул: внутри, судя по весу, тонкое белье – явно для Бекки. Углубившись в чулан, он разгладил помятые бумажные пакеты с книгами и пластинками. Среди последних был и новый альбом *Yes*, о котором он обмолвился матери в разговоре из тех, что доставляли им обоим такое удовольствие. (Сообщить о том, какие подарки ты хотел бы получить на Рождество, не упоминая при этом Рождество, проще

простого, однако же Преподобный не мог удержаться, чтобы не подмигнуть, а Бекки вообще портила всю игру: “Ты пытаешься сказать мне, что хочешь на Рождество?” Только мама и младший брат обладали должной смекалкой.) Перри уже жалел, что намекнул на пластинку *Yes*: теперь он придумал кое-что получше. *Yes*, как ничто другое, заходило под косячок, но он опасался, что, если слушать их музыку в неизменном состоянии сознания, она утратит своеобразное очарование.

В глубине шкафа обнаружили предметы потяжелее: желтый самсонайтовский чемоданчик (наверняка для Бекки), кажется, подержанный микроскоп (явно для Клема), портативный кассетный магнитофон с функцией звукозаписи (на который он намекал, но никак не рассчитывал!) и, бог ты мой, настольный футбол. Бедный Джадсон. Он еще ребенок и ждет в подарок игрушку, но Перри уже опробовал этот футбол у Родера и чуть не вырубился от смеха – до того дерьмовая игра. Поле из металлического листа вибрировало, как под током, и жужжало, точно электробритва, под двумя командами пластмассовых футболистов с приклеенными к подошвам квадратиками пластмассового дерна, квотербеки навечно застыли в угрожающих позах, точно рвутся в атаку, хавбеки то и дело теребят “мяч”, больше похожий на шарик из ворсинок, заваливавшихся в карманах, или так теряются в шуме схватки, что мчатся в собственную зачетную зону и устраивают сэйфти⁷, принося сопернику очки. Когда ты укуранный идиот, нет ничего смешнее наблюдать за теми, кто ведет себя, как укуранный идиот, но Джадсон, разумеется, не будет играть под кайфом.

Из хорошего: ни следа фотоаппарата. Перри, в общем, и не сомневался, что никто, кроме него, не знает, о чем мечтает младший брат, поскольку Джадсон существо высшее, ему и в голову не придет подавать матери корыстные намеки, а отец настолько далек от всего земного, что даже не заговаривает о подарках на Рождество. Но могло и не повезти, кто-то мог догадаться, вот Перри и решил обшарить шкаф – мелкое прегрешение, и тем мельче, что совершается во имя всего хорошего.

Потому что таков его новый зарок: быть хорошим.

Ну или, если не выйдет, хотя бы не очень плохим.

Хотя мотивы, сподвигшие его дать такой зарок, подразумевали, что плох он по природе своей и с этим уже ничего не поделать.

Вот к примеру: взять хотя бы неохоту, с какой он поднялся с пола и направился обратно по продуваемой насквозь лестнице, чтобы ликвидировать запас. Ликвидация была приговором, вынесенным самому себе, штрафом, который Перри присудил себе на пике решимости, теперь же засомневался, так ли это необходимо. В бумажнике лежали двадцать долларов, тайком всученные матерью на покупку рождественских подарков, плюс те одиннадцать, которые он ухитрился не потратить на отравление своей центральной нервной системы. Фотоаппарат, который они с Джадсоном разглядывали в витрине фотомагазина Нью-Проспекта, стоил двадцать четыре доллара девяносто девять центов, не считая налога с продаж и катушек пленки. Даже если купить матери дешевую подержанную рамку и вставить туда ее потрет гуашью, а остальным книги в мягких обложках (при мысли о том, что придется покупать *хоть какие-то* подарки Бекки, Клему и Преподобному, его охватило раздражение – нарушение зарoka, не сулившее ничего хорошего), все равно денег не хватает.

Можно было и сэкономить. Джадсон наверняка обрадуется, если Перри подарит ему “Риск”, эта настольная игра, даже новая, стоит вполтину дешевле фотоаппарата, и поиграет с ним, на что Перри охотно согласился бы в качестве еще одного подарка Джадсону, поскольку ему тоже нравится эта игра. Но в их доме “Риск”, как и любая другая игра, в которой воюют или убивают, равно как и игрушки, стреляющие снарядами (даже чисто теоретически), любые сол-

⁷ Сэйфти – в американском футболе: ситуация, когда игрок команды нападения падает в своей зачетной зоне. В этом случае команда защиты получает два очка.

датики, военные самолеты, танки и проч. – в общем, любая штука, о которой мечтает обычный мальчишка вроде Джадсона – из-за оголтелого пацифизма Преподобного была под строжайшим запретом. В распоряжении Перри имелся целый арсенал аргументов: разве не *все* игры нацелены на победу, точь-в-точь как на войне? Почему же тогда под запрет не попало воображаемое кровопролитие в шахматах или шашках? Так ли обязательно считать симпатичные глянцевого ромбики “Риска” “армиями”, а не абстрактными знаками в игре, в которой нужно выстраивать стратегию и бросать игральные кубики? Если бы только он умел спорить с отцом, не заливаясь краской, не давясь злыми слезами и не досадуя на себя за то, что умнее, хотя и порочнее старика! Хорошим же подарком Джадсону станет ссора рождественским утром.

Неохотно смирившись с тем, что запас сохранить не удастся, Перри закрыл за собой лестничную дверь и нашел Джадсона там, где оставил, в комнате: брат читал книгу под самодельной лампой, которую Перри укрепил над его капитанской кроватью. Уголок Джадсона напоминал каюту шлюпа “Спрей”, на котором его герой, Джошуа Слокам⁸, совершил кругосветное плавание: каждая вещь на своем месте, одежда сложена в ящики под кроватью, пятидесятицентовые книги в мягких обложках расставлены в алфавитном порядке, по названиям, игрушечные машинки на полочке расположены наискосок параллельно друг другу, будильник заведен до упора, – а снаружи бушует море Перри: тот считал, что сворачивать одежду – пустая трата времени, а раскладывать вещи по порядку излишне, поскольку он и так помнит, где что у него лежит. Запас хранился у него под кроватью, в запертом на висячий замок фанерном ящичке, который Перри смастерил в качестве экзаменационной работы на уроках труда в восьмом классе.

– Дружище, выйди ненадолго, – попросил он с порога.

Джадсон читал “Невероятное путешествие”. Он демонстративно насупился.

– То сиди здесь, то уходи.

– На минутку. Перед Рождеством необычные приказы следует выполнять беспрекословно.

Джадсон не шевельнулся.

– Чем сегодня думаешь заняться?

Уклончивый вопрос.

– Вот прямо сейчас, – ответил Перри, – я думаю заняться тем, ради чего тебе нужно выйти из комнаты.

– А потом?

– Мне надо в центр. Может, сходишь к Кевину? Или к Бретту.

– Они болеют. Когда ты вернешься?

– Не раньше ужина.

– Я придумал, как улучшить игру. Давай, пока тебя нет, я все приготовлю, а после ужина поиграем?

– Не знаю, Джей. Может быть.

Тень разочарования на лице Джадсона заставила Перри вспомнить зарок.

– То есть поиграем, конечно, – поправился он, – но до ужина игру не доставай, понял?

Джадсон кивнул и с книжкой соскочил с кровати.

– Обещаешь?

Перри пообещал и запер за ним дверь. С тех самых пор, как он довольно ловко смастерил из картонки “Стратего”, брату не терпится в нее поиграть. Поскольку формально в этой игре бомбили и убивали, существовала опасность, что ее конфискуют вышестоящие, так что Джадсону можно было не напоминать о необходимости хранить тайну. Были в Нью-Проспекте

⁸ Джошуа Слокам (1844–1909) – канадско-американский мореплаватель и исследователь, первый человек, совершивший одиночное кругосветное плавание. Автор книги “Один под парусом вокруг света”.

младшие братья и противнее. Джадсон не только служил Перри лучшим доказательством того, что любовь существует: он был таким обаятельным и собранным мальчишкой, почти таким же умным, как Перри, а спал по ночам не в пример лучше него, и Перри порой жалел: почему он не Джадсон?

Но что это вообще значит? Если душа – лишь психическое явление, порожденное телом, тавтологически-самоочевидно, почему душа Перри пребывает в Перри, а не в Джадсоне. Однако это не кажется самоочевидным. Независимость и неизменность души волновала Перри из-за неотступного ощущения: какая же все-таки странная случайность, что его душа очутилась там, где очутилась. Как ни силился Перри – и в трезвом уме, и в измененном состоянии сознания – раскрыть (или хотя бы внятно сформулировать) тайну того, что он – это он, у него ничего не получалось. Не понимал он и того, почему, к примеру, та же Бекки удостоилась стать Бекки и когда (в предыдущем воплощении?) она заслужила эту привилегию. Просто вдруг оказалось так, что она Бекки и вокруг нее вращаются небеса, и это его тоже озадачивало.

Он открыл ящичек и почувал приятный запах сканка. Запас состоял из трех унций травы в двойных пакетиках и двадцати одной таблетки метаквалона – все, что осталось от оптовой закупки, которая, как и предыдущие закупки, стоила ему практически нестерпимой тревоги и стыда. Он смотрел на запас, не веря, что вот-вот расстанется с ним, получив взамен лишь эфемерную радость оттого, что сделал брату подарок. Какой жестокий зарок. Он-то думал, что брат ему дороже кайфа, но, пожалуй, еще дороже две таблетки метаквалона, когда голова идет кругом и одна бессонная ночь кажется месяцем. О да, вот в чем вопрос: сунуть ли весь долбаный запас в карман куртки и разом с ним покончить, иль ночью сном забыться. За траву ему дадут тридцать долларов – больше, чем нужно. Так почему бы пока не оставить себе несколько таблеток? Или, если уж на то пошло, все таблетки?

Одиннадцать дней назад, в призрачной корреляции космической лотереи, в которой душа его вытащила имя “Перри”, он вытянул из кучки свернутых бумажек на линолеумном полу зала собраний Первой реформатской записку с именем “Бекки Х.”. (Какова была вероятность? Примерно один к пятидесяти пяти – в сотни миллионов раз выше, чем шансы стать Перри, и все же невелика.) Увидев имя сестры, он бочком двинулся к кучке бумажек, надеясь поменять записку на другую, но возле кучки стоял наставник “Перекрестков”, чтобы не допустить такого мошенничества. Обычно, когда нужно было найти партнера для парного упражнения, Рик Эмброуз рекомендовал выбирать тех, кого они плохо знают или с кем мало общаются. Но в прошлое воскресенье Аик Изнер, один из двенадцатиклассников, вхожих в ближний круг, поднялся и поставил группе на вид, что слишком многие-де выбирают “безопасных” партнеров, а “рискованных” избегают. В лучших традициях сталинских показательных судов Изнер с чувством признался, что тоже в этом виновен. Группа тут же обдала его одобрением – за честность и смелость. И кто-то предложил лотерею, на что уже другой член ближнего круга возразил: мы должны нести ответственность за свой выбор, а не доверять его механической системе, однако за такое решение проголосовала большая часть группы. Перри, по своему обыкновению, ждал, куда подует ветер, прежде чем поднять руку за или против.

Бекки, одна из немногих, голосовала против. И вот теперь, прочитав на бумажке ее имя, Перри подумал, не предвидела ли она эту самую возможность, не оказалась ли в кои-то веки дальновиднее брата. Партнеры разбивались на пары в зале собраний. Бекки, как ни в чем не бывало, оглядывалась, гадая, кто же достался ей. Перри подошел к сестре и понял, что она все поняла. На лице ее было написано то же выражение, что у него: “Черт”.

– Значит, так, – произнес Рик Эмброуз. – Я хочу, чтобы в этом упражнении каждый из вас признался партнеру, что в нем вызывает у вас восхищение. По очереди. А потом каждый из вас должен сказать партнеру, какие его поступки мешают вам узнать его лучше. Вы должны обсуждать, что вам *мешает*, а не унижать партнера. Понятно? Всем ясно, с чего начать?

Группа была довольно большая, Перри и Бекки без труда избегали друг друга с того самого вечера, когда она полтора месяца назад к всеобщему потрясению вступила в “Перекрестки”. Перри был потрясен не меньше прочих, ведь ни для кого не секрет, что Бекки – любимица Преподобного Отца, ей ли не знать, как он ненавидит Рика Эмброуза; то, что Перри переметнулся к врагу (то есть вступил в “Перекрестки”), остудило их и без того прохладные отношения с Преподобным, но поступок Бекки стал жестоким предательством. Тем воскресным вечером ее появление в Первой реформатской потрясло всех. Перри там был. Он видел, как на нее оборачиваются, слышал, как удивленно перешептываются. Словно на одно из Иисусовых сборищ в Галилее явилась сама Клеопатра, увенчанная короной царица уселась среди бесноватых и прокаженных, стараясь сойти за свою, потому что Бекки тоже принадлежала к иному миру – к неформальной аристократии средней школы Нью-Проспекта.

В детстве Перри толком не задумывался о том, что за человек его сестра. Бекки с Клемом (они были дружны) составляли типичную пару “старших”, примечательную тем, что учились неизменно лучше Перри, лучше обращались с ножницами, лучше играли в классики, лучше (намного лучше) контролировали свои эмоции и настроение. Только в средней школе Перри осознал Бекки как отдельную личность, о которой у большого мира сложилось твердое мнение. Она была капитаном команды чирлидеров школы Лифтон и могла бы выиграть любое другое состязание в популярности, в котором удосужилась бы поучаствовать. Стоило ей занять место в школьной столовой, как за этот стол тут же слетались самые красивые девушки и самые уверенные парни. Как ни странно, Бекки считали красивой. Самому Перри эта долговязая девица, которая вечно умудрялась пролезть раньше него в ванную и кривилась, как старая ведьма, случись ему исправить ошибку в ее речи или познаниях, внушала смутное отвращение, но старшие парни из Лифтона, с которыми он быстро сошелся, в том числе и Ансель Родер, уверяли его, что он заблуждается. Он не находил в себе сил согласиться с ними, хотя в конце концов сдался и признал: *что-то* в его сестре есть – какая-то уникальность, сила одновременно притягательная и недоступная (никто ни разу не осмелился назвать себя ее парнем), то, что она *знает себе цену*, причем с их доходами это никак не связано (считалось, что она не задается, как прочие чирлидерши, точно и не замечает, что без труда привлекает к себе внимание), – потому что и на него, Перри, ее младшего брата, ее жалкого прихвостня, падал отблеск ее величия.

В Нью-Проспекте слова “Бекки Хильдебрандт” действовали в прямом смысле как волшебное заклинание: стоит их произнести, и народ валом валит на вечеринку, а парни на уроке труда признаются, что у них стояк (к сожалению, Перри слышал это собственными ушами). А поскольку фамилия у них с Бекки общая, он замечал, что в Лифтоне *и на него тоже* мигом обращают внимание, по крайней мере парни из восьмых и девярых классов – те парни, которых солидные доходы и просторные дома родителей возвышают над остальными. Сперва к нему относились как к потешному щенку, но вскоре он доказал, что ничем не хуже их, а то и лучше. Никто дольше него не способен удержать в легких затыжку, никто не может выпить столько же и сохранить четкую речь, никто не знает столько слов. Даже его льняные волосы, густые и волнистые от природы, выглядят лучше, чем у друзей, когда отрастают до плеч. Родеру так надоело убирать со лба жидкие тусклые патлы, что в конце концов он их обкорнал и превратился в форменного уродца: с такой стрижкой он походил на солдата.

Перри ничуть не смущало, что все друзья старше него. Быть может, они приняли его в компанию исключительно из-за Бекки и ни на минуту не забывали, чей он брат, но и Перри был по-своему уникален. Это стало особенно очевидно в девятом классе, когда последний из его друзей перешел в старшую школу. В окружении сверстников, уступавших ему по уровню интеллекта (теперь никто не предложит ему накуриться во время обеда), Перри чувствовал себя космонавтом, который загулялся по Луне и опоздал на обратную ракету. Тогда-то у него и начались проблемы со сном. С января по март в течение нескольких недель, к счастью, стершихся из памяти, он впервые пережил ночи, в которые не спал до рассвета, и другие рассветы,

когда физически не мог открыть глаза, несколько утренних часов, когда, прокравшись обратно в Сраный Дом и поднявшись на третий этаж, он до ужина спал под старым половиком, не раз засыпал на однообразно-бесполезных уроках, выдержал мучительную беседу с директором школы и с родителями, во время которой тоже задремал, выдержал приступы ужаса, охватывавшие мать, и монотонные нотации отца. Не удивительно ли, что он все равно закончил ту четверть круглым отличником? За это надо поблагодарить бессонные ночи. Конечно, они с друзьями собирались после уроков и на выходных – хоть какая-то отдушина, – однако в темные месяцы эти встречи омрачал тот факт, что ему больше прочих хотелось – точнее, *требовалось* – курить или пить то, что они вместе курили и пили. Его друзья, все до единого, могли позволить себе купить еще наркотиков. И только у него (чья жажда забвения достигала пика лишь когда он оказывался дома, в одиночестве, а впереди маячила очередная пытка бессонницей) не отец, а церковная мышь.

И как раз когда он решил, что ему остается только торговать наркотиками, трое его друзей вступили в “Перекрестки”. Бобби Джетт – из-за девушки, за которой бегал, Кит Страттон – прельстившись девятью почти безнадзорными днями весенней поездки с “Перекрестками” в Аризону, Дэвид Гойя, чья мать была прихожанкой Первой реформатской, – чтобы его не карали такими страшными карами за то, что вечером он регулярно возвращается домой позже положенного. При Рике Эмброузе в “Перекрестки” начали стекаться ребята отовсюду. К нему сходились самые, казалось бы, неожиданные кандидаты на вступление в христианское общество, решив посмотреть, каково это. И среди тех, кто надумал остаться, оказались, к удивлению Перри, все три его друга. По выходным они по-прежнему устраивали тусовки, но в их разговорах сместился центр тяжести. Они тепло вспоминали поездку в Аризону, насмешливо – тренировки чувствительности, проходившие по воскресеньям, скабрёзно – лучших девиц из числа участниц “Перекрестков”, и Перри чувствовал себя так, словно его не приняли в веселую игру.

Мучительная весна сменилась летом, Перри дышал выхлопами газонокосилки, накуривался, напивался, перечитывал Толкина и наконец предложил Анселю Родеру вместе вступить в “Перекрестки”. Тот отказался наотрез (“Не люблю я эти секты”), и Перри вечером первого же воскресенья в десятом классе в одиночку вошел в комнату со сводчатым потолком, которую “Перекрестки” заняли на третьем этаже в церкви его отца. Воздух был сизым от табачного дыма, стены и своды потолка пестрели рукописными цитатами из э. э. каммингса, Джона Леннона, Боба Дилана, даже Иисуса и более таинственными анонимными фразами типа “*К чему гадать? Факт есть факт. СМЕРТЬ УБИВАЕТ*”. Перри опомниться не успел, как его уже обнимал Дэвид Гойя, телесного контакта с которым ему до сих пор вполне непринужденно удавалось избегать. В следующие минуты к нему прикоснулись – обняли, прижали к волнующей груди – в двадцать раз больше женских тел, чем за всю предыдущую жизнь. Очень приятно! После приветствий и организационных формальностей группа – добрая сотня человек – спустилась в зал собраний, где телесный контакт разного рода с парнями и девушками продолжался еще два часа. Единственная неловкость случилась, когда Перри, представляясь группе, обмолвился, что его отец – помощник священника “здесь”. Перри оглянулся на Рика Эмброуза, и тот прожег его взглядом, чуть сощурился темные глаза, то ли с подозрением, то ли с удивлением, словно хотел спросить: “*А отец знает, что ты тут?*”

Преподобный этого не знал. Поскольку Перри не умел спорить с ним без слез, то и привык скрывать как можно больше как можно дольше. В следующее воскресенье, предупреждая вопросы, он сказал матери, что идет ужинать к Родеру и действительно заглянул к нему ненадолго, слопал разогретую замороженную пиццу и накачался джином с виноградной газировкой, сидя перед цветным телевизором в уютно обустроенном подвале Родеров. И хотя Перри, как известно, умел пить, не пьянея, когда он пришел в “Перекрестки”, все так закрутилось, что потом и не вспомнишь, как это началось. Он то ли споткнулся, то ли пошатнулся. К нему подо-

шли два старших наставника из числа бывших воспитанников “Перекрестков” и сообщили, что он пьян. Рик Эмброуз пробрался сквозь толпу и вывел его в коридор.

– Хочешь пить – пей, мне все равно, – сказал Эмброуз, – но сюда в таком виде не приходи.

– Окей.

– Почему ты здесь? Зачем ты вообще пришел?

– Не знаю. Мои друзья...

– Тоже напились?

От страха наказания Перри почти протрезвел. Он покачал головой.

– Вот именно, черт побери, они не напились, – произнес Эмброуз. – Мне бы следовало отправить тебя домой.

– Простите меня.

– Правда? Ты хочешь об этом поговорить? Ты хочешь быть в нашей группе?

Перри еще не решил. Но он, бесспорно, радовался, что ему уделяет такое внимание уса- тый руководитель, о котором непочтительные друзья Перри отзываются с восхищением, радо- вался возможности в кои-то веки поговорить по душам со взрослым.

– Да, – ответил Перри, – хочу.

Эмброуз отвел его обратно в прокуренную комнату и прервал обычную программу ради одной из пленарных Конфронтаций, которые составляли основу практики “Перекрестков”. Темами были употребление алкоголя, уважение к сверстникам и к себе. Ребята, которых Перри едва знал, обращались к нему как к хорошему знакомому. Дэвид Гойя сказал, что Перри заме- чательный человек, но он, Дэвид, порой опасается, что он, Перри, прибегает к наркотикам и спиртному, дабы не замечать своих настоящих чувств. Кит Страттон и Бобби Джетт выска- зались в том же духе. И так далее, и тому подобное. И хотя в каком-то смысле ничего ужас- нее с Перри сроду не приключалось, его приятно волновало количество и качество внимания, которое оказывают ему, сопляку и новичку, за то лишь, что он выпил немного джина. И когда он ударился в слезы, расплакался от искреннего стыда, группа отреагировала экстазом сочув- ствия, наставники похвалили его за смелость, девушки подползали к нему, обнимали, гладили по голове. Так Перри прошел ускоренный курс знакомства с фундаментальными принципами “Перекрестков”: публичное выражение чувств заслуживает всеобщее одобрение. Чрезвычайно приятно, когда тебя подбадривает и ласкает целая комната товарищей, причем большинство из них старше и многие симпатичные. Перри подсел на этот наркотик.

Когда группа направилась на занятия в зал собраний, Рик Эмброуз отвел Перри в сто- ронку и зажал его голову под мышкой – видимо, в знак расположения.

– Молодец! – Эмброуз выпустил его.

– Если честно, я думал, меня сурово накажут.

– По-твоему, с тобой обошлись недостаточно сурово? Тебе всыпали по первое число.

– Ну, в общем, да, накрутили мне хвост.

– И вот еще что... – Эмброуз понизил голос. – Не знаю, в курсе ты или нет, но уход твоего отца вызвал тяжелые чувства. Мне до сих пор неудобно, и я не знаю, что делать. Но если ты хочешь быть здесь, я должен знать, что твой отец не против. Я должен знать, что ты здесь, потому что тебе этого хочется, а не потому что у вас с отцом нелады.

– Он ничего не знает. Я о нем и не думал.

– Это надо исправить. Он должен знать. Усек?

Вечером у Перри состоялся разговор с Преподобным – к счастью, короткий. Отец сложил пальцы трясущимся домиком и грустно взглянул на сына.

– Я солгу, – произнес он, – если скажу, что мы с мамой не волнуемся за тебя. Мне кажется, тебе нужна хоть какая-то цель в жизни. Если ты хочешь именно этого, я не буду тебе мешать.

Отцу до него настолько нет дела, что даже переход сына на сторону врага не вызвал у него гнева, заключил Перри.

Когда Бекки вступила в “Перекрестки”, он уже поднаторел в этой игре. Цель: подобраться к центру группы, войти в ближний круг, следуя правилам, по примеру Эмброуза и прочих наставников. Правила требовали поступать вопреки здравому смыслу. Не утешать друга невинной ложью, а говорить ему неприятную правду. Не сторониться стеснительных мямлей и безнадёжных изгоев, а подходить и общаться с ними (разумеется, так, чтобы это заметили). На занятиях выбирать в партнёры не друзей, а демонстративно знакомиться с новичками и во всеуслышание признавать их *безоговорочную ценность*. Не крепиться, а рыдать. И если в тот вечер, когда Перри напился джина, слезы его были следствием катарсиса, то дальше уже не стоили ему практически ничего и превратились в разменную монету, плату за то, чтобы подобраться в ближний круг. Это была игра, и он играл в нее мастерски, и хотя близкие отношения, которых ему удалось достичь в этой игре посредством теоретических умозаключений, увы, не радовали, он чувствовал, что остальные искренне ценят его мнение и искренне тронуты выражениями его чувств.

Перри опасался, что единственный, кого ему не удалось обмануть, – тот самый, чье одобрение его действительно волновало, Рик Эмброуз. В Эмброузе его, помимо прочего, восхищала и интеллектуально обоснованная вера в Бога. Сам Перри пока что не слышал глас Божий: то ли связь не работала, то ли на том конце и не было никого. Летом от скуки он пролистал один из отцовских религиозных журналов, смеха ради повычеркивал везде слово “Бог” и ручкой вписал “Стив”. (Кто такой Стив? Почему, на первый взгляд, здравомыслящие люди твердят о Стиве?) Эмброуз же высказал мысль столь изящную, что Перри подумал: в этом что-то есть. Мысль заключалась в том, что Бога следует искать в отношениях с людьми, а не в обрядах и богослужении, и поклоняться Ему, стараться приблизиться к Нему, подражая отношениям Христа с апостолами: упражняться в искренности, безусловной любви и умении бросить вызов. Эмброуз так об этом говорил, что все эти штуки не казались дикостью. Вдохновленный его словами, Перри придумал теорию возникновения религии: появляется лидер, свободный от предрассудков, придает привычным словам новый, сильный, неожиданный смысл, окружающие тоже осмеливаются прибегнуть к этой риторике и переживают ощущения, непохожие на те, что им доводилось переживать в обычной жизни: оказывается, они знают, кто такой Стив. Перри был совершенно очарован Эмброузом, считал, что его собственная уникальность дает ему право на место подле Эмброуза, и очень расстроился, когда после случая с джином тот стал его сторониться. Перри вынужден был заключить, что Эмброуз раскрыл его мошенничество в игре “Перекрестков” и перестал ему доверять. Вторую вероятную причину (что Эмброуз не желает посягать на семью Преподобного) опровергало пристальное внимание, которое Эмброуз очевидно оказывал Бекки с тех самых пор, как она вступила в группу.

И вот опасная лотерея, за которую Перри имел глупость проголосовать, свела его с Бекки. Будучи хитрым и любопытным червячком, он изучил все закоулки Первой реформатской. В зале собраний, за дверью, которая казалась запертой, на деле же нет, был просторный встроенный шкаф для верхней одежды; туда-то, когда прочие пары рассеялись по первому этажу церкви, Перри и привел сестру. Они сели по-турецки на линолеум под рядами пустых вешалок. Голая лампочка освещала пыльную чашу для пунша, упаковки картонных стаканчиков и два осиротевших зонтика.

– Ну, – потупясь, сказал Перри.

– Ну?

– Можем просто прибегнуть к некоей системе оценок и указать друг другу на ошибки, чтобы этого избежать.

– Согласна.

Обрадовавшись, что она согласилась, Перри взглянул на сестру. Она еще не обзавелась гардеробом, подходящим для “Перекрестков” (ни комбинезонов, ни холщовых штанов, ни

армейской куртки), но в ее старом свитере было больше одной дырки. Перри не верилось, что она вступила в “Перекрестки”, это перевернуло естественный порядок вещей.

– Я восхищаюсь твоим умом, – не глядя на Перри, заученно произнесла Бекки.

– Спасибо, сестра. А я восхищаюсь, правда восхищаюсь, твоей искренностью. У тебя куча друзей-притворщиков, но ты никогда не притворяешься. Просто удивительно. – Заметив, что Бекки поджала губы, Перри добавил: – Некрасиво получилось. Я не хотел осуждать твоих друзей. Я лишь пытался сказать о тебе что-то хорошее.

Бекки упрямо поджимала губы.

– Давай перейдем к помехам, – предложил Перри. – Подозреваю, это более плодородная почва.

Она кивнула.

– Что в моем поведении мешает тебе узнать меня лучше?

Перри подумал, что задача сформулирована некорректно. Хотя бы потому, что предполагается, будто они с Бекки *стремятся* лучше узнать друг друга.

– Пожалуй, – начал он, – мне мешает то, что я не нравлюсь тебе и ты всегда как будто злишься на меня, вот как сейчас, и за последние года три или четыре ни разу не попыталась поговорить со мной по душам, по крайней мере, я такого не помню, хотя мы живем в одном доме.

Бекки рассмеялась, но как-то судорожно, точно смех грозил перейти в рыдания.

– Признаю свою вину, – сказала она.

– Я не нравлюсь тебе.

– Нет, я о том, что мы не говорим по душам.

Ее лицо, которое Перри, пользуясь редкой возможностью, рассматривал вблизи, было безукоризненным. Как ни силился он отыскать хотя бы один изъян (у него самого было несколько очень заметных) или несовершенство в одной из главных черт (тонкость губ, квадратность подбородка, некрасивость носа), не находил ничего. Длинные, блестящие, прямые волосы Бекки были цвета более насыщенного, чем его немного фальшивое золото: прочие девушки завистливо сравнивали свои волосы с ее идеальными (в платоновском смысле) локонами. Перри понимал, почему Бекки считали красавицей – и почему это ошибка. Отсутствие недостатков не означает достоинство. Тут просто глазу не за что зацепиться, как если бы мы видели веревку от воздушного шарика, а сам шарик – нет. Раздражаясь от вида натянутой вертикальной веревки, уходящей в пустоту, люди, проследив ее взглядом, находят, что она, судя по виду, должна быть исключительно заманчива.

Бекки тоже ему не нравилась.

– То есть ты хочешь сказать, – спросила Бекки, – что помеха заключается в моих поступках?

– В этой части упражнения – да. Я перечисляю то, что мне мешает.

– А мне мешает твоя манера общаться. Ты хоть сам-то себя слышишь?

– Ну вот, началось унижение.

– Вот об этом я и говорю. То, как ты это произнес. Как английский аристократ.

– У меня среднезападный акцент.

По ее лицу пошли красные пятна.

– Как ты думаешь, каково нам общаться с человеком, который вечно смотрит на нас сверху вниз, точно посмеивается над нами? Который вечно ухмыляется, будто знает что-то, чего не знаем мы?

Перри нахмурился. Возразить, что на Джадсона он не смотрит сверху вниз (разве что в прямом, физическом смысле), значило признать ее правоту.

– Который относится ко мне как к слабоумной, потому что у меня четверка по химии.

– Химия не всем дается.

– Но у тебя-то пятерки с плюсом, так ведь? Причем тебе это ничего не стоит. Ни сил, ни нервов.

– Возможно. Ты бы тоже получила пять, если бы действительно хотела. Я не считаю тебя глупой, Бекки. Это неправда.

Он почувствовал, что растрогался, а здесь, в шкафу, наедине с сестрой, это не прибавит ему очков.

– Я говорю о том, что чувствую, – парировала Бекки. – Чувства не могут быть неправдой.

– Всё так. То есть ты хочешь сказать, тебе мешает то, что я хорошо учусь.

– Нет. Я хочу сказать, что ты как будто *не здесь*. Ты как будто за тысячи миль от нас. Я хочу сказать, что это не прибавляет мне желания узнать тебя лучше.

В школе Бекки пользовалась всеми мыслимыми социальными привилегиями, однако в “Перекрестки” пришла не ради развлечения и не из любопытства – тут надо отдать ей должное. Она выкладывалась по полной, не скрывала чувств, была искренней, не боялась конфронтаций, хотя, пожалуй, безусловная любовь ей пока не давалась. Она как раз вступила в стадию неофитского пыла. Сам Перри проскочил эту стадию так стремительно, что к октябрю, когда он впервые поехал с “Перекрестками” на выходные в Висконсин, в христианский молодежный центр у озера, Перри даже ностальгически пожалел Ларри Котрелла, тоже десятиклассника, который торжественно подошел к нему с половинкой камешка. Галька на берегу растрескалась от мороза, и один из членов ближнего круга придумал подарить другому половинку камешка, а вторую оставить себе – в знак того, что они две части единого целого; его пример оказался заразителен. Перри толком не знал Котрелла и был тронут и подарком, и последующими объятиями, но не по той причине, о какой можно было подумать. Его тронула наивность Котрелла. Перри понимал, что это игра, а Котрелл еще нет. Пожалуй, его тронул бы и пыл Бекки, сумей он разгадать, почему она, бесспорная королева класса, снизошла до “Перекрестков”.

Он едва не спросил ее почему, едва не вступил с ней в конфронтацию, но тут она неожиданно разразилась обличительной тирадой:

– Мне *мешает*, – заявила она, – то, что я не считаю тебя хорошим человеком. Когда я только-только пришла в “Перекрестки”, не поверила своим ушам. Знаешь, о чем все твердили мне в первый вечер? Какой у меня замечательный младший брат. Открытый, свойский, невероятно отзывчивый. Я подумала: мы точно имеем в виду одного и того же человека? Может, я плохая сестра? Не удосужилась узнать тебя получше? Была слишком занята собой, вот и не заметила, какой ты у нас открытый. Но знаешь что? Вряд ли. Я вела себя с тобой ровно так, как тебе нужно. Разве я сказала маме с папой хоть слово о том, что и так все знают? А ведь могла бы. Я могла бы сказать: мам, пап, вы вообще в курсе, что Перри – главный укурок в Лифтоне? Вы вообще знаете, что за последний год не было ни дня, чтобы он не удолбался? Что когда вы ложитесь спать, он поднимается на третий этаж и принимает наркотики? Что все его школьные дружки – алкоголики, и всей школе это известно? Я защищала тебя, Перри. А ты меня презираешь. Ты нас всех презираешь.

– Неправда, – возразил он. – Я считаю, что вы все лучше меня. Презираю? Скажешь тоже. Разве я презираю Джея?

– Дядсон бегаёт за тобой, как собачка. Ты именно так к нему и относишься. Ты пользуешься им, когда он тебе нужен, а когда не нужен, ты его не замечаешь. Ты пользуешься друзьями, ты пользуешься их наркотиками, пользуешься их домами. Ты и “Перекрестками” тоже пользуешься, вот правда. Тебе хватает ума этого не показывать, но я вижу тебя насквозь. В то первое воскресенье, когда мне рассказывали, какой ты замечательный, я думала, что сошла с ума. Но знаешь, кто еще со мной согласен? Рик Эмброуз.

Линолеум был холодный, но Перри вдруг показалось, что в шкафу жарко и душно, как в батисфере.

– Он считает, что от тебя одни неприятности, – безжалостно продолжала Бекки. – Он сам мне сказал.

Перри пустился было в размышления, при каких же обстоятельствах Эмброуз сказал ей такое, но остановился и дал задний ход. Казалось, сестра его обокрала. Едва он нашел игру, в которой преуспел, нашел место, где ценят его мастерство в этой игре, нашел взрослого человека, достойного восхищения, как явилась его сестра и в одночасье настроила Эмброуза против него, забрала его себе.

– Значит, дело не в том, что я не нравлюсь тебе, – дрожащим голосом произнес Перри. – Помеха не в этом. Помеха в том, что ты меня ненавидишь.

– Нет. Дело в том...

– Я вот тебя не ненавижу.

– Я тебя толком не знаю, о каких чувствах может идти речь? Тебя никто толком не знает. И те, кто думает, что знает, ошибаются. У тебя ловко получается ими пользоваться. Ты хоть раз в жизни сделал для кого-то что-то такое, что стоило бы тебе усилий? Я от тебя видела лишь эгоизм, эгоцентризм и эгоистичные развлечения.

Он рухнул ничком, дал волю слезам, надеясь смягчить Бекки, выманить искупительное объятие. Но тщетно. Он силился сообразить, чем таким мог ее обидеть (чем-то более осязаемым, нежели редкие недобрые мысли о ней), что объяснило бы ее ненависть. Так ничего и не вспомнив, он вынужден был заключить, что она ненавидит его из принципа, поскольку он дрянь, эгоистичный червь, и что она заявила сейчас об этом для того лишь, чтобы исправить абстрактную несправедливость чужих похвал.

– Извини, – сказала она. – Я понимаю, тебе неприятно это слышать. Ты мой брат. Но, может, и хорошо, что ты сегодня вытянул мое имя, ведь я тебя всю жизнь знаю. И понимаю тебя лучше, чем другие. Я... я правда хочу узнать тебя лучше. Ты мой брат. Но сперва я хочу убедиться, что там есть кого узнавать.

Она поднялась и оставила его, точно город, разрушенный водородной бомбой. Он мучительно восстанавливал из руин смысл того, что она сказала. *Она знает о его внешкольных занятиях куда больше, чем он мог представить.* (Слава богу, она хотя бы не знает, что он продает наркотики семиклассникам.) *Эмброуз считает, что от него одни неприятности.* (Единственное утешение – Эмброуз наверняка разозлился бы, узнай он, что она обманула его доверие.) *Его демонстративное усердие в "Перекрестках" ничего не стоит.* (Но она хотя бы сказала, что о нем думают хорошо.) *Он плохой человек. Он использует Джадсона.*

Под гнетом стыда и жалости к себе не в силах выйти из шкафа, Перри слышал, как члены группы возвращаются в зал, как радостно гомонят пары, успешно поработавшие над отношениями, как рывкает Эмброуз, как искусно бренчат на гитарах, как хором поют "Все добрые дары" и "У тебя есть друг". Интересно, заметил ли кто-нибудь его отсутствие. В ближний круг он пока не вхож, однако же относится к тем десятиклассникам, которые, вероятнее всего, туда попадут, он яркая звезда в созвездии "Перекрестков", и уж он-то, конечно, заметил бы, если, скажем, однажды погасла бы звезда в Поясе Ориона. Собрание завершилось, Перри ждал, что кто-нибудь постучит в дверь шкафа – раскаявшаяся Бекки, встревоженный наставник, сочувствующий Эмброуз, товарищ по группе, который ценит его, или тот, кто случайно заметил полоску света под дверью, когда в зале собраний выключили огни. Но никто, ни один человек, не пришел, и Перри счел это убийственным подтверждением слов Бекки. Он не тот человек, которого стоит узнавать лучше.

Отчасти чтобы доказать сестре, что она ошибается, отчасти чтобы стать человеком, которому Рик Эмброуз мог бы доверять (и, пожалуй, которого предпочел бы Бекки), в тот вечер Перри дал себе новый зарок. Не из самых чистосердечных побуждений, конечно, но надо же с чего-то начинать.

Он оставил в ящичке всего две таблетки метаквалона, в подарок себе на Рождество, впустил Дядсона в комнату, накинул куртку и под небом, грозившим просыпаться снегом, поспешил к дому Анселя Родера. Особенность Сраного Дома заключалась в том, что, хотя его проще было снести, нежели отремонтировать, находился он в более фешенебельной части города, чем дом старшего священника. Все старые дружки-наркоманы жили поблизости. Никак не решаясь ликвидировать запас, Перри дотянул почти до самого Рождества и теперь рисковал не застать никого из постоянных клиентов под баскетбольным кольцом Лифтона, но Родер всегда был мистером Ликвидность. Родер жил в просторном особняке с круглой башенкой и терракотовой черепичной крышей. В комнатах потолочные балки, а наименее изящные предметы мебели все же изящнее наиболее изящных в доме Перри. Топили у Родеров так жарко, что Ансель открыл Перри дверь босой и голый по пояс, как рядовой на пляже.

– Ты-то мне и нужен, – сказал Родер. – У меня колонки трещат.

Перри следом за другом поднялся по широкой лестнице.

– Обе?

– Ага, но только с вертушкой, не с магнитофоном.

– Ценная информация. Давай посмотрим.

У Перри не было ни времени, ни желания изображать мастера по ремонту аппаратуры, но ему частенько случалось использовать свои многочисленные навыки, чтобы отплатить друзьям: починить технику, прочистить засорившийся аквариумный шланг, вывести красивую надпись, написать записку родительским почерком, истолковать сон, выполнить любой мелкий ремонт, требовавший клея или пинцета. Наверху, в своей комнате, Родер включил на мощном проигрывателе “Поезд виски”⁹, Перри сразу же догадался, в чем дело, и поправил разболтавшуюся иголку. После чего без церемоний достал из кармана куртки пакетик и бросил на кровать Родера.

Родер округлил глаза.

– Королевский подарок.

– Я думал, ты его купишь.

– Куплю?

В воздухе повис вопрос: почему Перри привычно пользовался щедростью Родера, если у него есть свои наркотики, и почему не делился ими.

– Мне нужны деньги, – пояснил Перри. – Хочу купить Джею подарок на Рождество.

– Да ну? И ты решил продать... как в том рассказе – “Дары волков”?

– Волхвов.

– Было бы смешно, если бы Джей тоже что-то продал, чтобы купить тебе, я не знаю, бонг?

Или что-нибудь в этом роде.

– Да, “Дары волхвов” – история про иронию судьбы.

Родер пощупал пакетик – может, пересчитал таблетки.

– Сколько тебе нужно?

– Хорошо бы долларов сорок.

– Почему бы тебе не взять у меня займы?

– Потому что мы друзья и я не знаю, смогу ли отдать тебе долг.

– Но ты же будешь летом снова стричь газоны?

– Мне нужно копить на колледж. Родители следят за моими расходами.

Родер прикрыл глаза, соображая, что к чему.

– Тогда на какие шиши ты купил это? Украл?

У Перри вспотели ладони.

– Мимо.

⁹ “Whiskey train” — композиция рок-группы Procol Harum.

– А тебе не кажется странным, что я куплю у тебя траву и мы вместе ее выкурим?

– Я не буду с тобой курить.

Родер скептически хмыкнул. Тут-то бы Перри и признаться, что он дал зарок вообще ничего ни с кем не курить. Но он не решился.

– Послушай, – сказал он, – я понимаю, что не могу быть таким же щедрым, как ты. Но если взглянуть на вещи трезво, какая разница, у кого ты купишь траву, если в итоге потратишь столько же.

– Большая разница, и меня удивляет, что ты этого не понимаешь.

– Я не дурак. Я трезво смотрю на вещи.

– Я-то думал, ты принес мне подарок.

Перри понял, что обидел друга, что они очутились на распутье. *“Так и будешь пассивно мяться в сторонке?”* – прозвучал в его голове голос Рика Эмброуза. *– Или все-таки рискнешь завести настоящую дружбу?”* Он ведь пришел к Родеру не затем, чтобы положить конец их дружбе (пусть пассивной, бездеятельной, основанной на совместном употреблении наркотиков). Но правда и то, что вместе они только ловят кайф.

– Может, тридцать долларов? – Лицо у Перри тоже вспотело. – Тогда получится, что это частично подарок, частично, э-э-э...

Родер отвернулся, открыл ящик. Бросил на кровать две двадцатки.

– Ты мог бы просто попросить у меня сорок долларов. И я бы дал. – Он взял запас, сунул в ящик. – С каких это пор ты торгуешь наркотиками?

Вновь очутившись на Пирсиг-авеню, Перри силился сообразить, почему пятнадцать минут назад не догадался просто попросить у Родера денег – пусть даже “в долг” (хотя оба знали, что Перри не отдаст), а запас смыть в унитаз, добившись того же результата, не обижая друга; почему он не предусмотрел, что Родер отреагирует ровно так, как отреагировал, – теперь-то Перри понимал, что иначе быть не могло. Что говорить о девятилетием Перри, если даже тот Перри, который был пятнадцать минут назад, теперь для него загадка! Неужели его душа меняется всякий раз, как постигает что-то новое? Самая суть души – в неизменности. Может, его недоумение коренится в неспособности сопрячь душу с познанием. Может, душа – инструмент, созданный под одну конкретную задачу: *знать, что я – это я*, и меняется по отношению ко всем прочим формам познания?

Шагая к центральному торговому кварталу Нью-Проспекта, Перри почувствовал, как что-то давит на сердце, точно скользнула вниз какая-то шестеренка, набежала первая тень, знаменующая конец доброго расположения духа, – от ограниченности ли разума в том, что касается тайны души, от неумения ли примирить новый зарок с бездумной обидой, нанесенной старому другу. Обычно ему нравилось сияние витрин темными зимними вечерами. Почти в каждом магазине были желанные вещи, и в это время года каждый фонарный столб увивали сосновые лапы и венчал красный колпак, тоже означавший покупки, подарки, новые полезные вещи. Сейчас же, хотя это чувство еще не охватило его, Перри вспомнил, как это – когда тебя не трогают магазины, когда тебе ничего в них не надо: насколько тусклее тогда светят их огни, какими сухими кажутся сосновые лапы на столбах.

Он припустил к фотомагазину, словно надеялся убежать от этого чувства. Для Джадсона он присмотрел “Яшику” с двумя объективами – отличный фотоаппарат, почти как новый. Он стоял в витрине на маленьком белом пьедестале среди двадцати прочих новых и подержанных камер, и Джадсон согласился, что он прекрасен. Перри вошел в магазин, не взглянув на витрину. Но потом обернулся и заметил белизну пустого пьедестала.

“Яшики” не было.

Вот тебе и “Дары волхвов”.

Из фотолаборатории в дальнем конце зала пахло реактивами. Хозяин магазина, мужчина с блестящей лысиной, имел вид человека, раздраженного притеснениями – вполне объяснимо,

учитывая, что аптеки и торговые центры губили его бизнес. Он поднял глаза от объектива, который чистил, увидел Перри, длинноволосого подростка, и явно подумал, что перед ним либо воришка, либо ротозей, на которого не стоит тратить время. Перри его успокоил – произнес с интонацией, которая так злила Бекки:

– Добрейшего вечера. Я хотел купить “Яшику” с двумя объективами, она стояла у вас в витрине.

– Увы, – ответил хозяин, – я ее продал сегодня утром.

– Очень и очень жаль.

Хозяин попробовал заинтересовать его дерьмовым “Инстаматиком”, потом какой-то жуткой фоторухлядью, Перри же старался не выдать, как оскорбляют его подобные предложения. Положение было безвыходное, как вдруг Перри заметил под стеклом на прилавке очаровательную вещицу. Компактную кинокамеру европейского производства. В корпусе из вороненой стали. С регулируемой диафрагмой. Он вспомнил, что дома в кладовке хранится старый кинопроектор, остаток более оптимистичной эпохи, когда еще верилось, что Хильдебрандты, быть может, станут такой семьей, члены которой, сгрудившись, смотрят домашнее видео, – это было еще до того, как Преподобного атаковали осы и он уронил кинокамеру за борт лодки.

– Сорок долларов, – сказал хозяин. – Новая была в два раза дороже, учитывая, сколько стоил доллар в сороковые. Пленка 8 мм. Заправлять вот сюда.

– Можно взглянуть?

– Она стоит сорок долларов.

– Можно взглянуть?

Перри взвел пружину, посмотрел через видоискатель в роскошный объектив и понял, что не прочь оставить камеру себе. Может, Джадсон даст ему поснимать?

В соответствии с уроком такие мысли следовало гнать прочь.

И он отогнал. Перри вышел из магазина беднее на сорок восемь долларов, но ощутимо богаче духовно. Он представлял, как удивится Джадсон, получив не тот фотоаппарат, на который они глазели, а более качественную и классную кинокамеру, и в кои-то веки искренне радовался за другого: в этом он не сомневался. С небес Иллинойса посыпался снег, белые кристаллики воды, такие же чистые, каким чувствовал себя Перри из-за того, что расстался с запасом. Мысли его счастливо замедлились, текли со средней скоростью, но пока что не медленнее. Он медлил на тротуаре, среди тающих снежинок, мечтая, чтобы мир остановился хоть на миг.

Послышался знакомый рокот мотора. Перри обернулся: у знака “стоп” на Мейпл-авеню остановился их семейный “фьюри”. На заднем сиденье громоздились коробки. За рулем сидел отец в старой дубленке, пропажу которой из шкафа на третьем этаже Перри не заметил. На месте пассажира, повернувшись лицом к его отцу и закинув руку за спинку его кресла, сидела смазливая мать Ларри Котрелла. Она весело помахала Перри, и тогда Преподобный тоже его увидел, но даже не улыбнулся. У Перри возникло отчетливое ощущение, что он застучал старика за постыдным занятием.

Бекки в то утро проснулась до света. Был первый день каникул, и раньше в такой день она поспала бы подольше, но в этом году все оказалось иначе. Она лежала в темноте, слушая, как свистит и шелкает в батарее, как тяжело гудят трубы внизу. Словно впервые она наслаждалась уютом дома в холодное утро. Она наслаждалась – да, именно так – холодом, который позволял ощутить уют: то и другое сливалось воедино, как губы в поцелуе.

До вчерашнего вечера Бекки относилась к поцелуям к категории необязательных занятий. Пять лет она наблюдала, как вокруг все целуются, и знала девушек, которые якобы пошли до конца, но не стыдилась своей неопытности. Стыд такого рода – ловушка для девушек. Даже настоящие красавицы боятся, что утратят популярность, если не пойдут на поводу у парней. Как говорила тетя Шерли: “Если сама себя не ценишь, никто тебя не оценит”. Бекки не ставила перед собой цели добиться популярности, но когда к ней пришла популярность, инстинктивно

сообразила, как этим распорядиться и как ее увеличить. Стать подружкой спортсмена – явно путь в никуда. Она никогда не подумала бы, как сладко падать, как сильно ей захочется пасть еще ниже и что наутро, лежа в постели, она почувствует себя совершенно другой.

За окном понемногу светало, и висящий над ее столом плакат с Эйфелевой башней, акварель с изображением Елисейских полей, которую оставила ей Шерли, обои с пони, которые она выбрала в подарок на десятилетие, а отец поклеил (в этом возрасте она еще не понимала, что ей придется провести с ними не один год), казались черно-белыми. В сером утреннем свете смотреть на обои было не так тошно. Небо хмурилось, и Бекки радовалась, что наутро после того вечера, когда ее жизнь стала серьезнее, стоит именно такая погода. Солнца нет, оно не меняет угол, и непонятно, который час: ничто не выводит ее из состояния девушки, которую целовали.

Когда в соседней родительской спальне сработал будильник, его звон показался Бекки не обычным жестоким утренним звуком, но обещанием всего, что, быть может, готовит ей этот день. Когда она услышала глухое жужжание отцовской бритвы и шаги матери в коридоре, подивилась, что прежде не замечала ценность обычной жизни и того, как ей повезло, что она так живет. Как же хорошо. Какие люди хорошие. Какая она хорошая. Она любила все человечество.

И если Бекки медлила в кровати, дожидаясь, пока на подъездной дорожке заурчит семейный автомобиль и мать пойдет наверх одеваться, то потому лишь, что после случившегося ей хотелось еще немного побыть одной. Она укуталась в японский шелковый халат, который подарила ей Шерли, и босиком неслышно спустилась в ванную на первом этаже. На унитаз присела пописать женщина, которую целовал мужчина. Страшась обнаружить, что эта перемена столь же незаметна снаружи, сколь важной ощущается в душе, она избегала встречаться глазами с человеком в зеркале.

Запах яичницы и тостов заставил ее изменить маршрут: она пошла не на кухню, а обратно в комнату. Сердце ее словно трепетало оттого, что ей нужно одновременно приняться за тысячу дел, но единственное, что она собиралась сделать, – рассказать кому-нибудь, что ее поцеловали. Ей хотелось первому рассказать обо всем брату, но он еще не вернулся из колледжа. Она стояла у окна и наблюдала, как одна белка злобно гонится за другой вверх по стволу дуба. Может, та украла у нее желудь, а может, Бекки обратила на это внимание, потому что сама сделала кое-что украдкой. И сердце ее трепещет от прилива адреналина, как у вора. Сперва казалось, белка-агрессор готова оставить беглянку в покое, но потом конфликт обострился: погоня вверх по стволу, затем по горизонтали и летящий прыжок в кусты у подъездной дорожки.

Интересно, подумала Бекки, проснулся ли он, что он думает о ней, не жалеет ли.

Мимо ее двери прошел Джадсон, обсуждая с мамой сахарное печенье. Бекки не любила домоводство и радовалась, что есть брат, который это любит, особенно в декабре, когда на мать ложилось бремя совершения определенных обрядов, – например, печь сахарное печенье в форме елочек и карамельных тростей, которое она придумала для семьи. Бекки казалось, что праздники для матери – очередная хозяйственная повинность, и ей пришлось в голову, что любовь ко всему человечеству в каком-то смысле абстракция, а вот спуститься на кухню, посидеть с мамой, возможно, помочь с печеньем – это было бы доброе дело, но ей не хотелось.

В качестве компромисса она надела лучшие линялые джинсы, взяла анкеты колледжей и спустилась в гостиную (единственный, кого она *активно* избегала, Перри, вряд ли появится раньше полудня) и обосновалась в кресле у елки, которую нарядила мать – для нее это была очередная хозяйственная обязанность. Запах напомнил Бекки, как в детстве они с Клемом доводили друг друга до неистовства, когда под елкой высилась горка подарков, но теперь она гораздо старше. За окном хмурилось утро, звуки готовки доносились точно издалека. Бекки будто сидела где-нибудь на дальнем севере, где пахнет хвоей. После поцелуя она словно смот-

рела на себя откуда-то сверху, так высоко, что виден был изгиб Земли, и во все стороны от кресла Бекки простирался новый трехмерный мир.

Она подавала документы в шесть колледжей, пять из них – платные и дорогие. Не далее как в октябре их рекламные каталоги казались ей романтическими, на разные лады сулили побег и от домашних, которых она переросла, и из школы, социальные возможности которой она исчерпала. Но потом Бекки попала в “Перекрестки”, это смягчило ее нетерпеливое стремление покинуть Нью-Проспект, и вот сейчас, открыв папку с каталогами, она обнаружила, что поцелуй еще радикальнее уменьшил будущее. Теперь неважным казалось все, что дальше завтрашнего дня.

Расскажите о человеке, которым вы восхищаетесь или у которого научились чему-то важному.

Она сняла искусанный колпачок с биковской ручки и принялась писать в блокноте на пружинке. Собственный почерк, такой прямой и округлый, сегодня утром вдруг показался ей детским. Бекки перечеркнула написанное и стала писать с наклоном, зауживая буквы, как писала бы женщина, которой она чувствовала себя вчера вечером на парковке за “Рошей”.

Человек, которым я восхищаюсь

До моих восьми лет наша семья жила в Южной Индиане. Мой отец служил пастором в двух маленьких сельских приходах. В тех краях много ферм, а еще ручьи и леса, где мы гуляли с моим братом Клемом. В отличие от большинства старших братьев, он никогда не злился, что я хожу за ним следом. Клем ничего не боялся. Он научил меня, что если на тебя напала пчела, нужно стоять смирно. Он любил всех живых существ. Он звал зверей “живыми существами”, и все они были ему интересны. Однажды он посадил к себе на руку большого паука, а потом спросил, можно ли посадить его ко мне на руку. Я узнала, что если пауков не обижать, то они не кусаются. Через один широкий ручей было перекинута бревно, и Клем пробежал по нему, точно это пара пустяков. Он показывал мне, как перебраться на другой берег, сев на бревно и потихоньку продвигаясь вперед. Наверное, большинство братьев с радостью оставили бы младшую сестру дома, но только не Клем. У него была бейсбольная рукавица, которую он

Ее охватила усталость. Слова тоже казались ей детскими. Прежде она думала, что описание брата понравится колледжам и она легко объяснит, почему восхищается Клемом, но сегодня утром она этого не чувствовала. Во-первых, когда Клем приезжал домой на День благодарения, он признался ей под строжайшим секретом, что у него в Шампейне появилась девушка – первая в жизни. Бекки бы порадоваться за брата, она же расстроилась, словно ее обошли. До сих пор она, хотя и была младше, считала себя опытнее и мудрее в плане общения.

В старших классах Клем водился с какими-то старомодными, дурно пахнущими типами в усыпанных перхотью очках... Бекки жалела, что брат не сумел найти друзей получше, но он уверял, что ничуть не завидует ее популярности, а ее окружение занимает его лишь с “социологической” точки зрения. Возвращаясь домой в субботу поздно вечером, она всегда заставляла полоску света под дверью Клема. Стучала, он откладывал книгу, которую читал, или задачу, над которой бился, и слушал, как умел только он из всей семьи, ее истории о жизни в Камелоте. Он высказывал пронизательные суждения о ее друзьях, Бекки сперва отмахивалась (“У всех свои недостатки”), но в душе понимала его правоту. Особенно сурово он отзывался о некоторых парнях из ее компании – том же Кенте Кардуччи, который постоянно звал ее на свидания и который, по словам Клема, издевался над его другом Лестером в раздевалке. Как-то, еще в десятом классе, она в обед подошла к Кенту и при всех его дружках отчеканила, почему никогда не пойдет с ним на свидание: “Потому что ты козел и садист”. И хотя вряд ли Кент перестал

стегать Лестера по заднице сырым полотенцем, Бекки, чувствовавшая общее настроение, как никто другой, заметила, что высший слой иерархии с тех пор сторонится Кента. Ее так и подмывало сообщить об этом достижении Клему, но она понимала, что больше всего брат презирает саму иерархию, а не отдельных ее членов. При этом он ни разу не попросил ее выйти из иерархии, словно понимал: в этой сфере Бекки как нигде показывает успехи. Как же она была ему благодарна! Это было одно из сотни доказательств, что Клем ее любит. Порой, если случалось задремать у него на кровати, проснувшись, Бекки обнаруживала, что Клем заботливо укрыл ее одеялом, а сам спит на коврик у кровати. Пожалуй, она сомневалась бы, нормальна ли такая вот дружба, ведь они душевно близки, скорее как муж с женой, а не как брат с сестрой, и нет ли чего нездорового в том, что его тонкое, точно стебель фасоли, тело и прыщавое лицо в шрамах не внушают ей отвращения, какое должны были бы внушать сестре, не будь она так уверена: все, что делает Клем, правильно и хорошо.

И даже после того как Клем уехал учиться в колледж, он остался для нее путеводной звездой. Порой Бекки считала необходимым посещать буйные вечеринки без родительского присмотра, потому что туда не приглашали десятиклассников и почти никого из одиннадцатиклассников. Теоретически Клем не одобрял такую исключительность еще больше, чем родители, но если отец читал ей кроткие наставления, как важно помнить о тех, кому повезло меньше твоего, а мать вслух сокрушалась, что дочь задирает нос, Клем понимал, как важно ей быть в центре внимания. “Просто будь осторожна, – напутствовал он сестру. – Помни, что ты лучше их всех вместе взятых”. На таких вечеринках ее до некоторой степени защищало то, что на выборах чирлидеров в школе она набрала больше всех голосов, следовательно, по умолчанию считалась вторым капитаном команды, хотя училась только в одиннадцатом классе, и стоило Бекки обмолвиться, что ей не нравится эта музыка, как – вуаля! – чья-то невидимая рука поднимала иглу и ставила пластинку Сантаны. При этом ее все равно подбивали пойти вразнос. Пожалуй, ей не удалось бы отмахнуться от протянутого косяка, не предупреди ее Клем, что воздействие марихуаны на мозг в долгосрочной перспективе пока что мало изучено. На злополучной новогодней вечеринке у Брэдфилдов, когда остальные блевали в снег на заднем дворе, а в подвале шла омерзительная игра – или честно отвечай на вопрос, или делай что скажут, – она вполне могла бы подняться в спальню с настырным двадцатилетним Трипом Брэдфилдом, если бы не смотрела на него глазами Клема.

После Нового года у Брэдфилдов она перестала бывать на таких вечеринках. Незадолго до этого умерла тетя Шерли, Бекки ушла из команды чирлидеров и налегла на учебу. Шерли научила ее, что, если остаться дома и почитать хорошую книгу (пусть другие гадают, где ты), можно добиться большего, чем таскаясь по всем вечеринкам. А поскольку занятия в команде, по принятым в семье правилам, уже не освобождали ее от работы, после уроков она подрабатывала в цветочном магазине на Пирсиг-авеню. Она так долго и так бесспорно пользовалась популярностью, что теперь ничуть не опасалась быть забытой.

Напротив. После ее ухода из команды блеск оставшихся девушек словно вдруг потускнел. Шерли подарила ей темно-синее пальто по щиколотку, и когда в сопровождении Джинни Кросс, которая с седьмого класса была ее лучшей подругой и верной наперсницей, Бекки после занятий шла по Пирсиг-авеню, она отдавала себе отчет, какими они кажутся сверстникам, проезжающим мимо на машинах. Шерли сказала бы, что они выглядят “таинственно”.

Она заставила себя вновь взять ручку. Ее планы на день зависели от того, успеет ли она к обеду закончить сочинение.

Однажды теплым жарким влажным летним днем мы с Клемом гуляли неподалеку от фермы, где на цепи сидела огромная злая собака. Ее побаивался даже Клем. Ну, и почему-то в тот день собака оказалась не на цепи, перепрыгнула через изгородь и погналась за мной. Она тянула меня за ногу, я упала. Собака меня загрызла бы, если бы Клем не бросился на нее

и не стал с ней бороться. Когда нам на помощь наконец подросла хозяйка фермы, собака уже сильно его покусала. Лицо, руки, ему наложили тридцать-сорок-пятьдесят сорок швов. Хорошо еще, что собака не покалечила ему руку и не прокусила артерию. Когда я вижу шрамы на его руках и щеке, я до сих пор вспоминаю, как он. Всегда поступает правильно, не заботясь о том, что подумают другие

Заступается за тех, кого обижают не боится хулиганов (как собаку)

Он помог мне понять, что в жизни есть вещи важнее, чем

Почему, когда она пишет, кажется полной дурой? Бекки вырвала из блокнота незадавшуюся страницу. С кухни запахло нагревающейся духовкой, ускользящим утром. Текст на странице несправедливо озадачил ее своей нескладностью, словно она не сама его написала.

В гостиную вошла мать с кувшином воды.

– А, ты уже проснулась, – сказала она.

– Да, – ответила Бекки.

– Я не слышала, как ты встала. Ты позавтракала?

Мать была в тренировочном костюме – бесформенной фуфайке и растянутых синтетических бриджах. Бекки подумала, что этот облик воплощает различие между матерью и теткой, настолько же стройной, насколько мать была грузной: тетка в жизни не надела бы такую фуфайку. Мать наклонилась полить елку, и Бекки отвернулась, чтобы не видеть обнажившиеся складки на ее боках. Еще одно, более прискорбное, различие между матерью и Шерли заключалось в том, что мать жива. Шерли не толстела, потому что в день курила по две пачки “Честерфилда”.

Мать спросила, чем она сегодня думает заняться.

– Заполню анкеты, – ответила Бекки. – Куплю подарки.

– Только вернись к шести, чтобы успеть собраться на вечеринку к Хефле. Как только папа придет домой, мы сразу же и пойдем.

– Я пойду на вечеринку?

Мать выпрямилась с кувшином в руках.

– Дуайт пригласил всех с семьями. Перри останется дома с Джадсоном, а когда придет Клем, я не знаю.

– Что это за вечеринка?

– Для всех, кто служит в церкви. В прошлом году Клем ходил с нами.

– Я разве обещала пойти?

– Нет. Вот я и сообщаю, что ты идешь с нами.

– Извини, но у меня другие планы. Я иду на концерт “Перекрестков”.

Бекки, не глядя на мать, догадывалась, какое у той сейчас выражение лица.

– Твой отец не обрадуется. Но если тебе так хочется, то к половине девятого мы уже вернемся от Хефле.

– Концерт в половине восьмого.

– Ничего страшного, опоздаешь, в этом есть свой шик. Пропустишь часок, чтобы сохранить хоть подобие мира на праздники – я ведь не прошу многого.

Бекки набычилась. У нее были причины сделать иначе, но объяснять их она не собиралась.

– Как продвигается сочинение? – спросила мать.

– Отлично.

– Если покажешь, что написала, я тебе помогу. Хочешь?

Это было высказано слащавым тоном, предположительно в знак примирения, но Бекки восприняла это как напоминание: мать лучше нее пишет сочинения, она же сама не умеет делать лучше ничего из того, что ценит мать.

– Пожалуй, я все-таки напишу о тете Шерли, – ударила Бекки в ответ.

Мать окаменела.

– Ты же хотела писать о Клеме.

– Это мое сочинение. О ком хочу, о том пишу.

– Тоже верно.

Мать вышла из комнаты. За окном чуть прояснело, и Бекки, к своему удовольствию, обнаружила, что пыл ее не угас. Нет, дело вовсе не в том, что мать плохой человек. Просто не понимает, что у Бекки есть планы поинтереснее вечеринки у Хефле.

После того нападения собаки в Индиане, когда раны на лице Клема зашили и обработали йодом, а руки забинтовали, вернувшийся из церкви отец наорал на сына. *“Как ты мог допустить? Кой черт понес тебя на эту ферму? Я же велел тебе следить за сестрой! А если бы ее собака загрызла? Такое бывает сплошь и рядом, собаки убивают таких же маленьких детей, как Бекки! О чем ты только думал?”* И все это десятилетнему мальчишке, которого покусала собака, потому что он защищал сестру. Затем последовал наказ: Клему запрещено ходить с Бекки за пределы двора – разве что по главной улице в школу и из школы. Стоило Бекки задуматься об их с Клемом необычной дружбе, как в голове всплывало слово “запрещено”. То, что запрещено, чаще всего оказывается самым желанным. Нечто манит именно потому, что кто-то суровый или непонимающий тебе это запретил. В отрочестве полоска света поздним субботним вечером из-под двери Клема влекла Бекки, точно отблеск запретного. Они с Клемом противостояли силам, желавшим их разлучить.

После того наказания Бекки на прогулках вместо Клема взялся сопровождать отец. Прогулка с Клемом превращалась в приключение: покачаться на ветках, огласить старый колодец плеском, бросив в него гальку, отыскать под камнями жутких многоножек, понюхать и разломать семенные коробочки, подманить яблоком лошадь. Для отца же природа была великолепным, но безликим творением Божьим. Он говорил с дочерью об Иисусе, отчего ей делалось неловко, и о трудной жизни местных фермеров, что было интереснее для Бекки, но не очень разумно со стороны Преподобного. Истории, которые можно пересказать на детской площадке – о том, что у Бойланов сын в сумасшедшем доме, миссис Бойлан питается через трубочку, мать Карла Джексона на самом деле ему бабушка, – с ранних лет позволили Бекки вкусить популярности. Скандальные истории о взрослых в начальной школе любили больше всего.

Когда семья переехала в Чикаго, по воскресеньям отец “по традиции” водил Бекки гулять – обычно они просто описывали круг по Скофилд-парку. Отказ от приглашения, как правило, не стоил того, чтобы потом выслушивать, как мать ее стыдит. Бекки и так стыдилась, что мало интересуется делами церкви, а угнетенными людьми – и того меньше, она ценила, что отец относится к ней с уважением, как к взрослой, и рассказывает ей о том, о чем, может, и не следовало говорить. Она внимательно выслушивала разглагольствования о том, как он мечтает усерднее служить ближним, его недовольные рассуждения о положении помощника священника в зажиточном и преимущественно белом пригороде, и пересказывала услышанное Клему. (*“Недоволен он тем, – говорил Клем, – что у него жена и четверо детей.”* Или язвил: *“Маме нравится, что ты ходишь с папой гулять, потому что с тобой он не сбежит”*.) Сама же Бекки, как ни допытывался отец, никогда не рассказывала ему, чем недовольна и о чем мечтает.

Бекки зубами стащила колпачок с ручки. Поспевала первая партия сахарного печенья.

16 января будет год, как не стало моей тети Шерли.

Уже лучше. В этой фразе чувствовалась серьезность, она немедленно внушала сочувствие к понесшей утрату абитуриентке.

Она была одна в целом свете: ее единственный любимый мужчина погиб во Вторую мировую войну. Мне посчастливилось знать тетю Шерли и научиться у нее тому, как важны воспитание и элегантность, вера в себя, стойкость перед лицом одиночества и болезни. И тетя вообще не купила меня подарками, что бы ни думала моя мать. Я любила Шерли по-настоящему. Каждое лето с моих десяти меня на неделю отправляли в ее небольшую, но элегантно со вкусом обставленную квартиру в Нью-Йорке на Манхэттене.

Шерли и правда ее задаривала. Правда, никому из братьев Бекки тетя не дарила ничего. Правда и то, что новую одежду, которую Бекки привозила домой из Нью-Йорка, приходилось стирать, чтобы отбить запах тетиного “Честерфилда”, и что в первый приезд, в шестьдесят четвертом, Бекки каждую ночь плакала на диване (Шерли звала его “канapé”, как бутерброды), потому что скучала по Клему, потому что в душной прокуренной квартире дым ел глаза и потому что по иронии судьбы именно мать уговорила Бекки великодушно принять приглашение Шерли и следующим летом снова приехать к ней. (И лишь позже, когда Бекки уже с нетерпением ждала поездки в Нью-Йорк, мать стала называть сестру “тщеславной” и “оторванной от жизни”.)

Бекки с ранних лет восхищалась теткой. В первый и последний визит на ферму в Индиане Шерли взяла семилетнюю Бекки за плечи, серьезно посмотрела ей в глаза и сообщила, что Бекки вырастет настоящей красавицей. Это было удивительно. В отличие от матери, которая была просто женой пастора, Шерли добилась успеха на Бродвее, звездой, конечно, не стала, но какую-никакую карьеру сделала, и Бекки любовалась, как величаво тетка прорывалась сквозь толпу народа на Всемирной выставке шестьдесят четвертого года и как, случись официанту или продавцу назвать Бекки ее дочерью, подмигивала племяннице, которая прежде, по примеру Клема, презирала обман.

Разница между выдумкой и обманом, объяснила ей Шерли, заключается в творческом воображении. И хотя у Бекки такое воображение явно отсутствовало (мумий в нью-йоркском Метрополитен-музее она предпочитала европейским художникам, динозавров в парке – мумиям, а универмаг “Мейсиз” – динозаврам), Шерли заверила ее, что так даже лучше, потому что в мире искусства и театра всем заправляют жестокие мужчины, и многие из них, уж извините за выражение, в прямом смысле слова *хуесосы*, так что женщине лучше быть ценительницей и благодетельницей, чем неопцененной и облагодетельствованной. Так Бекки догадалась, что сама Шерли предпочла бы богатство таланту, пусть даже никогда в этом не признавалась.

Бекки долго не знала, сколько у тетки денег и откуда они взялись. Квартирка у Шерли была тесная, но при этом у нее были расчетные карты всех универмагов. Мебель с виду недорогая, а туфли и украшения – наоборот. В дорогой ресторан она отвела Бекки всего раз, но зато и дома не готовила. Они с Бекки листали папку, в которой было на удивление много меню с блюдами навынос, заказывали по телефону – вместе со всем прочим, что нужно Бекки (в детстве молоко и печенье, потом тампоны и газировка), – и оплачивали доставку наличными у двери, укрепленной от взлома. Шерли так содрогалась при воспоминании о единственной поездке в Индиану – в тот раз, когда предсказала судьбу племянницы, – что сразу становилось ясно, какой ужас внушила ей ферма, а уж стоявшая в коридоре стиральная машинка с растрескавшимися от старости резиновыми валиками, похоже, поразила ее до глубины души. Самой Шерли выстиранное белье доставляли в коричневых бумажных свертках, перевязанных белой бечевкой.

Кроме походов по магазинам больше всего в этих летних поездках Бекки нравилось, что не нужно притворяться, будто ее не волнует социальный статус и она не хочет его добиться.

Шерли регулярно расспрашивала племянницу, чем занимаются отцы ее друзей, большие ли у них дома, и Бекки осознала, что Нью-Проспект – вовсе не утопия Среднего Запада, где все равны (как ей, возможно, казалось прежде), а место, в котором деньги имеют значение, и только приятная внешность или спортивные успехи способны компенсировать их отсутствие. В десятом классе на деньги, которые Шерли дала ей специально для этой цели, и несмотря на суровое осуждение матери, Бекки записалась на ежемесячный курс в городскую школу бальных танцев, “Месье и мадемуазели”; ее подружки закатывали глаза, но, тем не менее, ходили на занятия. В отличие от подруг Бекки не сторонилась неуклюжих или неопрятных партнеров – отчасти по примеру Клема, но еще и потому, что тетя говорила: только снобы всего боятся, настоящие аристократы полны благородства, – хотя и замечала (и радовалась, потому что это подтверждало ее положение в обществе), как неуклюжий мальчишка становился еще более неуклюжим от изумления, что она выбрала его в партнеры. Терпимость, в которой Бекки упражнялась на танцах, была не только благородна: для обретения популярности она оказалась не менее важна, нежели исключительность, что и доказали в следующем году результаты выборов чирлидеров. Вдвойне приятно, когда тебя одновременно *боятся и обожают*, вдобавок, по мнению Бекки, это выгодно уравнивало двух очень разных людей, чей пример для нее важен.

В последний визит Бекки в Нью-Йорк тетя между сигаретами сосала какие-то вонючие лекарственные пастилки. Несмотря на июльскую влажность, она никак не могла избавиться от хрипоты. Впоследствии Бекки гадала, понимала ли Шерли, что это значит, поскольку тетя все время забывала, что Бекки осталось учиться не год, а два года. В следующем году, говорила Шерли, как только Бекки окончит школу, они отправятся летом в большое путешествие по Европе: будут ходить по театрам в Лондоне, по Лувру в Париже, поедут в Зальцбург слушать музыку, в Стокгольм на белые ночи, насладятся духом Венеции и полюбуются римскими древностями. Что Бекки на это скажет? “Я думаю, – отвечала Бекки, – ты имела в виду, не в следующем году, а через год”. Увы, она не разделяла нетерпение тети. Бекки была не прочь увидеть Париж, но родителям и так не нравилось, что она любимица Шерли, а путешествие по Европе обойдется тете в круглую сумму. Вдобавок, когда Бекки стала старше, семена скептицизма, посеянные ее матерью, выросли в уверенность, что Шерли какая-то ненормальная и у нее нет близких друзей. Бекки по-прежнему любила ее, ценила ее мнение. В отличие от матери она понимала, как Шерли одиноко и как сильно она завидует младшей сестре, потому что у той есть муж и дети. Но в идеальном мире для путешествия по Европе Бекки не выбрала бы в компаньонки Шерли с ее сигаретами.

Через четыре дня после возвращения из Нью-Йорка, еще до того, как Бекки успела отправить тете благодарственное письмо, им позвонила Шерли, и после разговора мама расплакалась. Слезы ее были уместны, хоть и удивительны – пример того, что сила сестринской любви преодолевает сестринскую неприязнь. Бекки не плакала, когда мать сообщила ей новость: рак казался обоим чем-то страшным и нереальным. Слезы пришли позже, когда Бекки написала благодарственное письмо и думала, как его завершить (“*Поправляйся скорее*”? “*Надеюсь, ты скоро поправишься*”?), а потом еще раз, когда Шерли прислала ей путеводитель по Европе с примечаниями и подчеркиваниями и еще письмо, в нем она подробно рассказывала о европейских железнодорожных проездных, о том, как борется с раком и как важно ей в предстоящие трудные месяцы иметь цель, ради которой стоит с нетерпением ждать “следующего лета”.

Той осенью Бекки лучше узнала мать – как отдельного человека с определенными способностями. Мать дважды надолго уезжала в Нью-Йорк: Шерли проходила курс лучевой терапии. Бекки спросила, можно ли поехать с нею, и мать не только не отказала, но и заметила, что это станет отличным подарком тете. Но Шерли не хотела, чтобы Бекки приезжала, не хотела, чтобы та видела, какой она стала, не хотела, чтобы племянница запомнила ее такой. Пусть Бекки приезжает весной, когда лечение завершится и Шерли немного придет в себя. И если

все будет хорошо, они отправятся в незабываемое путешествие по историческим столицам Европы.

Шерли умерла в одиночестве в больнице Леннокс-Хилл. Похорон не было. Как у Эленор Ригби.

Когда я была младше, мне казалось, что элегантность не стоит тете никаких усилий, но, узнав ее лучше, я поняла, что это вовсе не так. Теперь же я думаю обо всех тех вещах, которые помогали ей каждый день притворяться, будто все в порядке. О запасах косметики в ванной комнате, о флакончике “Шанель № 19” о колготках, которые она выбрасывала, если на них появлялась хоть малейшая затяжка, о старых белых перчатках, которые она надевала, когда читала газету, чтобы типографская краска не испачкала пальцы, о чашке с золотой каймой, из которой она пила чай, отставив мизинчик, как леди. И все для чего? Для того лишь, чтобы сохранить достоинство в мире, в котором ей приходилось в одиночку ходить в театр или на концерт. Неудивительно, что ее маленькие привычки столько для нее значили. Она помогла мне многое понять о моей жизни, но еще и о жизни тех, кто каждое утро просыпается в одиночестве и находит в себе силы встать с кровати и выйти на люди. Мне повезло: у меня всегда было много друзей. Я была “популярна” и порой кичилась этим. Когда Шерли не стало, все изменилось. И теперь я благодаря ей восхищаюсь теми, кто один в целом свете.

В последний раз мать Бекки съездила в Нью-Йорк, чтобы кремировать тело Шерли и разобраться с ее имуществом. Вернулась со старым плетеным чемоданчиком Шерли, в котором лежал норковый палантин, акварель, серебряные сережки, золотой браслет и прочие подарки для Бекки, которая расплакалась, когда мать показала ей вещи.

– Понимаю, почему ты плачешь, – холодно сказала мать. – Но не следует идеализировать теть. Она в жизни делала только ошибки. Пожалуй, “ошибки” – это еще мягко сказано.

– Я думала, тебе ее жаль, – ответила Бекки.

– Она моя сестра. Разумеется, мне ее жаль. – Мать смягчилась, но лишь на миг. – Мне следовало догадаться, что люди не меняются.

– Что ты имеешь в виду?

– Шерли была из тех женщин, которым нет дела до других женщин. Ее интересовали только мужчины. Их у нее было множество. Забавно, правда, что ни один из них не задержался. Хорошие быстро смекали, что она за человек, плохие разочаровывали ее, а гомосексуалов она терпеть не могла. Я была незнакома с мужчиной, за которого она в конце концов вышла замуж, но, насколько я понимаю, он происходил из богатой семьи. Он погиб на Тихом океане, оставил ей кое-какой доход, и хорошо, потому что актриса она была никакая. Так, смазливая девица, которая в состоянии запомнить текст. Когда мы с твоим отцом перебрались в Нью-Йорк, она была “между ролями”. И когда мы уехали, она так и оставалась между ролями. Жила в придуманном мире, где никто не ценит ее талант и все мужчины либо ее используют, либо разочаровывают, но, может, со следующим повезет. Она была одной из самых несчастных людей, кого я знала.

Холодность этих слов ошеломила Бекки.

– Но это же очень грустно, – заметила она.

– Да, грустно, – откликнулась мать. – Поэтому я и не возражала, чтобы ты ездила к ней на лето. У тебя хорошая голова, хорошая душа, а Шерли, видит Бог, была одинока.

– Если она не любила женщин, почему тогда любила меня?

– Я и сама удивлялась. Но такие люди, как она, не меняются.

Лишь через восемь месяцев Бекки узнала причину материнской холодности. Так случилось, что восемнадцатый день рождения Бекки пришелся на субботу. Джинни Кросс устраивала шумную вечеринку, на которую собирались все, кто имел хоть какое-то значение. Всем

хотелось посмотреть, как напьется Хильдебрандт: такова была явная цель Джинни и тайное желание Бекки, да поможет ей Бог. В отличие от беспутного младшего брата Бекки всегда трепетно относилась к положению отца как священнослужителя и понимала, что негоже дочери пастора напиваться в стельку, но раз уж теперь она стала достаточно взрослой, чтобы голосовать, стадный инстинкт подсказывал ей, что пора и покуролесить. После дневной смены в “Роце” (из цветочного магазина она ушла, нашла работу приятнее, официанткой) она поспешила домой, принять душ, переодеться и поужинать с семьей. В доме было на удивление пусто. Лучи октябрьского солнца в гостиной, тающий запах свежее испеченного пирога. Бекки поднялась к себе и вздрогнула от неожиданности, увидев, что на кровати сидит мать.

– Идем наверх, – сказала мать.

– Мне нужно в душ, – ответила Бекки.

– Потом сходишь.

На третьем этаже их дождался отец, сквозь распахнутые окна в душный, точно чердак, кабинет тянуло осенним холодом. Отец жестом велел Бекки сесть. Мать закрыла дверь и осталась стоять. Бекки переполошилась. Казалось, ее сейчас авансом накажут за то, что она решила напиться, хотя она еще не напилась.

– Мэрион? – произнес отец.

Мать откашлялась.

– Как тебе известно, – начала она, – моя сестра назначила меня душеприказчицей. И то, что я должна тебе сказать, я говорю как ее душеприказчица. Твоя тетя оставила тебе кучу денег. Теперь тебе восемнадцать, значит, деньги твои. В завещании не указано, что до твоего совершеннолетия ими должен распоряжаться опекун. Там указано лишь... Расс, прочти, пожалуйста.

Отец отпер ящик и достал документ.

– “Моей племяннице Ребекке Хильдебрандт я завещаю сумму в тринадцать тысяч долларов на большое путешествие по Европе в память обо мне”. Вот и все. Об опекунах ни слова. Бекки, не удержавшись, расплылась в улыбке.

– Вчера я положила эти деньги на твой сберегательный счет, – добавила мать.

– Ух ты!

– По закону я обязана была это сделать, – пояснила мать. – Адвокат сказал, что мы можем подождать до твоего восемнадцатилетия, но не дольше. Шерли недвусмысленно выразила свое желание.

– Ух ты! Хорошо.

– Ничего хорошего, – возразил отец. – Желание идиотское, и нам нужно об этом поговорить.

– Тринадцать тысяч долларов, – вставила мать, – это почти все состояние твоей тетки. Несколько тысяч она оставила разным музеям, но главная наследница – ты. Если бы ты умерла раньше нее, деньги отошли бы музеям.

Бекки догадалась, в чем дело. А если бы и не догадалась, мать ей все объяснила: Шерли не просто обошла в завещании Клема, Перри и Джадсона, но и потребовала, чтобы Бекки потратила деньги на сущую ерунду. Шерли всю жизнь жила в выдуманном мире, в нем и скончалась.

– И ведь она отлично знала, как я на это отреагирую. Потому и оставила такое завещание. Значит, все должно быть только по-твоему, подумала Бекки.

Вероятно, отец тоже так подумал, потому что попросил мать оставить их одних. А когда она ушла, произнес ласково, как обычно общался с дочерью:

– Даже не верится, что тебе уже восемнадцать. Кажется, только вчера мы привезли тебя из роддома.

Сколько раз Бекки слышала эту фразу – “кажется, это было только вчера”?

– Но тебе уже восемнадцать, и я хочу, чтобы ты хорошенько подумала о том, как распорядиться этими деньгами. По закону желание тети ни к чему тебя не обязывает, и, по-моему, тринадцать тысяч – слишком крупная сумма, чтобы вышвырнуть ее на путешествие по Европе. Столько и за два года не истратить, если, конечно, не останавливаться в “Ритце”.

Шерли Наверняка выбрала бы “Ритц”, подумала Бекки.

– Я не имею права указывать тебе, что делать, но, на мой взгляд, ты могла бы уважить желание Шерли и потратить летом небольшую сумму на заграничное путешествие. Если хочешь сделать маме приятное, возьми ее с собой. Опять-таки, я не имею права тебе указывать...

Дану?

– Но нужно поступать по справедливости. Я знаю, ты очень любила Шерли, и она тебя, но мне все-таки кажется, что этим своим завещанием она хотела уязвить твою маму. Мы с мамой любим всех детей одинаково и считаем, что ко всем детям нужно относиться одинаково. Хорошо это или плохо, но наша семья небогата. Мы с мамой хотим, чтобы вы все поступили в колледж, и четвертая часть завещанной тебе суммы оказалась бы очень кстати каждому из вас. Я не вправе тебе указывать, как правильно поступить...

Да ну?

– ... но я надеюсь, что ты хорошенько подумаешь, как быть. Ты сделаешь это ради меня?

– Ага, – ответила Бекки.

– Я знаю, это трудно. Тринадцать тысяч долларов – это куча...

– Я поняла, – перебила Бекки. – Больше не надо ничего говорить.

– Я лишь хочу, чтобы ты знала, что я очень...

– Я же сказала, что поняла. Окей?

Она вскочила, убежала к себе и рывком открыла верхний ящик комода, где держала сберегательную книжку. И правда, баланс увеличился. Теперь там тринадцать тысяч семьсот пятьдесят три доллара. Подарки на день рождения, подарки на крестины, плата за время, проведенное в дурацком зеленом фартуке цветочницы, чаевые и жалованье из “Роши”: всего семьсот пятьдесят три доллара. Милая тетя Шерли! Она знала, чего хочет Бекки; подарок неожиданный, а оттого еще более приятный. Бекки никогда, *ни единого разу* не задумалась, а не оставила ли ей тетушка какие-то деньги, ей хватило и чемоданчика с сокровищами. И лишь сейчас, когда Бекки представила, что от цифр в ее сберегательной книжке останется жалкая мелочь, разум ее встрепенулся и принялся приводить алчные доводы. Может, по закону она и не обязана следовать букве завещания, но разве *морально* она не обязана уважить его дух? Не оскорбит ли она память Шерли, уступив уговорам отца? Да и с какой стати она должна что-то давать своему братцу-укурку, он ведь и так, скорее всего, бесплатно поступит в Гарвард? А когда у отца появится свой приход и в доме будет меньше ртов, не останется ли больше денег для Джадсона? Клем был единственным, с кем ей хотелось поделиться.

Вечером на тусовке она залпом выпила два джина с тоником, после чего можно было сбавить скорость, не опасаясь, что это заметят. Главный эффект алкоголя заключался в том, что он внушал сильное, хоть и смутное ощущение важности, как будто тебе вот-вот откроется нечто теплое и значительное. Опьянение рассеялось, а с ним и ощущение важности, оставив по себе холодное и мелкое осознание: ей скучно. Ей плевать, кто в кого влюблен и как перед матчем подшутили над футбольной командой из школы Лайонса. В мире полно мест лучше.

И только благодаря наследству, которое я получила после трагической смерти Шерли, я могу позволить себе задуматься о частном колледже. Сама Шерли в колледже не училась, в молодости была известной актрисой, делала карьеру, однако интересовалась возвышенными

материями и разбиралась в театре, музыке, живописи и coteur¹⁰ лучше многих знатоков всех, кого я знаю. У нее я научилась ставить перед собой большие цели и чего-то добиваться. В отличие от нее, у меня, к счастью, есть возможность получить образование и узнать больше о мире. И я намерена использовать эту возможность по полной.

Она перечитала написанное и наморщила нос. Видимо, мамины язвительные замечания навсегда омрачили те чистые чувства, какие Бекки прежде питала к Шерли. А может, утро после поцелуя не располагает к выражению восхищения. Учитывая ее состояние, хорошо, что она вообще что-то написала.

Бекки закрыла блокнот, пошла на кухню, где Джадсон разукрашивал печенья разноцветной глазурью. Из открытой двери подвала доносились звуки стирки.

– Классное печенье, – сказала Бекки.

– Мне бы еще инструмент получше. А то к ложке глазурь липнет.

– Какое тебе нравится меньше всего? Спорим, я сделаю так, что оно исчезнет.

– Вот это, – указал Джадсон.

Она съела печенье и тут же захотела еще.

– Что ты хочешь на Рождество? Такое, о чем ты пока никому не сказал?

– Никто и не спрашивал.

– Разве Перри не спрашивал?

Джадсон, помедлив, покачал головой.

– Ну вот, я спрашиваю, – сказала Бекки.

– Цветные карандаши, – не отрывая взгляда от печенья, ответил Джадсон. – Каких-нибудь интересных цветов.

– Поняла. Через пять секунд эта запись самоликвидируется.

– Если вас или кого-то из ваших спецагентов поймают или убьют, министр снимет с себя ответственность за мессию.

– Не мессию, а миссию.

– Я тоже так думал.

– Ты хороший парень. – Бекки переполняла любовь.

– Спасибо.

По лестнице из подвала тащила мать, и Бекки поспешила к себе. При виде незаправленной кровати ей захотелось снова лечь, точно погрузиться в поцелуй. День едва начался, но ей уже казалось, что он тянется дольше обычного.

Все (и в особенности отец – из зависти) считали, что таким фурором “Перекрестки” обязаны исключительно Риду Эмброузу. Однако, по словам Клема, не только Эмброузу, но и Таннеру Эвансу. Родители Таннера были прихожанами Первой реформатской, он вместе с Клемом ходил в воскресную школу и весной ездил с отцом Бекки в Аризону, в новый молодежный трудовой лагерь. Таннер – хороший парень из хорошей семьи, а еще талантливый музыкант и самый клевый чувак в Нью-Проспекте, красавчик в клешах, одним из первых в городе отращивший длинные волосы. Клем говорил, что “Перекрестки” произвели фурор, когда Таннер позвал на воскресные сборища своих приятелей-музыкантов, парней и девушек, белых и черных. “Перекрестки” стали клубом не только христианским, но и музыкальным, а невозмутимость Таннера уравновесила пылкость Эмброуза.

Таннер отложил поступление в колледж, чтобы развивать талант и писать песни. Вечером в пятницу он регулярно играл концерт в заднем зале “Роши”, где подавали спиртное. Он и его девушка Лора Добрински, которая в “Перекрестках” занимала то же место, что и сам Таннер, играли в группе “Ноты блюза”. Лора была низенькая, толстенькая, но с копной кудрей, и розо-

¹⁰ Искаж. франц. *couture* (в данном случае речь о моде, *haute couture*).

вые очки в проволочной оправе были ей к лицу, а когда она пела, от ее голоса закладывало уши и рвались души. Она была одной из первых хиппи Нью-Проспекта, ходячий ответ “да” на вопрос “А с тобой бывало такое?”. Трудно было представить Таннера с кем-то другим, так что, когда Бекки устроилась в “Рошу” и Таннер при каждой встрече спрашивал, как у Клема дела в колледже, и передавал привет родителям, она заключила, что для Таннера она – младшая сестра его приятеля, а поскольку парень он вежливый, то и общается с ней из вежливости.

Вечером накануне своего восемнадцатилетия, после окончания смены, Бекки стояла в дверях задней комнаты и слушала последнюю песню первой части концерта “Нот блюза”. Голосом и усами Таннер смахивал на Джеймса Тейлора¹¹, и на нем была замшевая куртка с бахромой. У него были тонкие сильные пальцы гитариста, и когда он пел, от его пухлых губ невозможно было оторвать взгляд. Песня закончилась, Бекки направилась было прочь, но услышала, как он окликнул ее. Таннер пробрался к ней мимо столиков возле барной стойки и жестом попросил ее присесть. Лора Добрински куда-то подевалась.

– Я давно хотел тебя спросить, – начал он, – почему ты не в “Перекрестках”?

Бекки нахмурилась.

– А почему я должна там быть?

– Э-э, потому что там клево? Потому что ты ходишь в церковь?

Вообще-то Бекки не ходила в церковь. Она была настолько далека от веры, что родители и не заставляли.

– Даже если бы я хотела вступить в “Перекрестки”, а я не хочу, – ответила она, – я бы никогда не поступила так с отцом.

– При чем тут твой отец?

– Вы его выгнали.

Таннер поморщился.

– Да. Нехорошо получилось. Но я спрашиваю не о нем, а о тебе. Почему бы тебе не вступить в “Перекрестки”?

Клем и правда вступил в молодежную группу, когда она еще не называлась “Перекрестки”, а ведь брат от веры более далек, чем она. Но Клему нравилось служить бедным, особенно во время поездок в Аризону, и товарищей он выбирал по велению своего доброго сердца (или извращенного вкуса). Бекки смущал внешний вид участников “Перекрестков” – холщовые штаны, фланелевая рубаша, – витавший над ними в школьной столовой дух превосходства, их показная сплоченность и безразличие к иерархии. Клем тоже презирал иерархию, но никогда этим не козырял. В отличие от ребят из “Перекрестков”.

– Не хочу, и все, – ответила она Таннеру. – Не мое это.

– Ты даже не пробовала, откуда ты знаешь, твое или не твое?

– А тебе какая разница?

Таннер пожал плечами, бахрома на куртке качнулась.

– Я слышал, Перри ходит на собрания. И подумал: “Здорово, а Бекки?” Меня удивило, что ты не в группе.

– Мы с Перри очень разные.

– Верно. Ты же Бекки Хильдебрандт. Королева тусовок. Что скажут твои друзья?

Мило, что он озаботился выяснить ее социальный статус. Но Бекки терпеть не могла, когда ее дразнят.

– Я не пойду в “Перекрестки”. И не обязана объяснять тебе почему.

– Разумеется, не потому что боишься узнать о себе что-то новое.

– Разумеется.

– Да ну? А мне вот кажется, боишься.

¹¹ Джеймс Вернон Тейлор (род.1948) – известный американский фолк-музыкант.

– Я такая, какая есть.

– Бог говорил то же самое.

– Ты веришь в Бога?

– Пожалуй, да. – Таннер откинулся на спинку стула. – Я считаю, что Он – в наших отношениях, если они честные. Именно в “Перекрестках” я завел честные отношения и почувствовал себя ближе к Богу.

– Тогда почему вы выгнали моего отца?

Похоже, ее вопрос задел Таннера за живое.

– У тебя классный отец, – ответил он. – Он мне очень нравится. Но ребятам было трудно найти с ним общий язык.

– Я вот нахожу. Значит, и я вам тоже не гожусь.

– Надо же, классический пример пассивной агрессии. В “Перекрестках” тебе такое не спустят с рук.

– Перри трепло, каких мало, однако вы приняли его на ура.

– Вот смотрю я на тебя – и вижу девушку, у которой есть всё, девушку, на месте которой хотел бы оказаться каждый. Но в душе ты еле дышишь от страха.

– Вот уеду из этого города, тогда и вздохну свободно.

– Ты создана для большего и лучшего.

Бекки не привыкла к насмешкам. Старшекласники Нью-Проспекта боялись даже намека на ее презрение.

– К твоему сведению, – процедила она ледяным тоном, который ей редко приходилось использовать за пределами семьи, – я не люблю, когда надо мной смеются.

– Извини, – ответил Таннер, – я просто думал, что провести целый год, затаив дыхание, значит потерять время даром. Ты же должна жить. Так мы славим Бога – тем, что ценим каждую минуту.

Бекки силилась придумать язвительный ответ, и тут появилась Лора Добрински. От облака ее волос пахло травкой, выкуренной на холодной осенней улице, креповая блузка под расстегнутой косухой обтягивала отвердевшие от холода соски. Лора присела на колени к Таннеру, спиной к его груди.

– Я уговариваю Бекки вступить в “Перекрестки”, – сообщил Таннер.

Казалось, только теперь Лора заметила Бекки.

– Это не для всех, – сказала Лора.

– Тебе же нравится. – Красивые руки Таннера обхватили низ Лориного живота.

– Мне нравится, что там кипят страсти. Но это не всем подходит. Многие не выдерживают.

– Кто, например?

– Та же Бренда Мейзер. У нее был нервный срыв во время весенней поездки.

– Да она просто психанула, – возразил Таннер, – потому что за день до поездки Глен Кил ушел от нее к Марси Аккерман.

– Она ревела двадцать часов кряду, – сказала Лора, – представляешь? Сперва кричала, как на занятиях. Ну, знаешь, когда покричат, замолчат, потом снова кричат, вот только Бренда не замолкала. Обрато мы ехали вместе в машине Эмброуза. Она вообще ни на что не реагировала: обнимешь ее, отпустишь – все равно плачет. В конце концов мы просто слушали, как она ревет. Уже хотелось ее задушить, лишь бы она заткнулась. Подъехали к ее дому, Эмброуз проводил ее до двери, сдал родителям. Вот ваша дочь, с ней что-то не то, а больше мы ничего не знаем.

Бекки попыталась представить, как Клем рыдает во время поездки, но не смогла.

– Да какой там нервный срыв, – возразил Таннер. – Бренда на следующий день пришла в школу.

– Ну и ладно. – Лора расплылась в шутиливой улыбке. – Подумаешь, рыдала почти сутки. Что тут такого?

Бекки в тете, помимо прочего, восхищало презрение. Шерли регулярно пускала его в ход, порой сопроводив соленым словцом. После того как Шерли умерла и мать вынесла ей приговор, Бекки осознала, что презрение служило тете средством выживания, поскольку больше от черствого мира защититься ей было нечем. Бекки же прибегала к презрению разве что в случае крайней нужды, только если ее намеренно донимали. Уходя в тот вечер из “Роши” с непривычным ощущением собственной неполноценности, она призывала на помощь презрение, однако Лору Добрински презирать было не за что, разве что за маленький рост, но даже в случае крайней нужды это казалось Бекки нечестным. Лора – “Настоящая Женщина” (Бекки слышала, как Лора своим мощным голосом поет песню о том, каково это), а Таннера презирать не за что. Лежа в кровати, Бекки даже задумалась: что если Таннер прав и она действительно боится жить? И скука, которую она в следующий вечер чувствовала на вечеринке в честь своего дня рождения, лишь подтвердила: ей нужно начать жить.

Не оставь ей Шерли тринадцать тысяч долларов, вряд ли она решила бы начать с “Перекрестков”. Она смутно догадывалась, что, появившись в “Перекрестках”, приятно удивит тех, кто обращает внимание на такие вещи. Если ей там понравится, Таннер ее зауважает, если же в “Перекрестках” окажется скучно, что ж, значит, у нее появится повод для презрения. Но она знала, что отец терпеть не может Рика Эмброуза. Ей не то чтобы *запретили* вступать в “Перекрестки”, но все равно что запретили.

Лишь после того как отец прочел ей нотацию о деньгах тети Шерли, она дерзнула его ослушаться. И вовсе не потому, что он заблуждался. Она и сама понимала, что ее полоумная тетка выделила ее в ущерб братьям и она, Бекки, в силах это исправить, поделившись с ними наследством. И все же чувствовала себя обманутой, хотя и сознавала, что ведет себя как ребенок. Сколько раз мать твердила ей, что отец ее обожает? Сколько раз она ходила с ним на дурацкие прогулки, потому что думала, для него это очень важно? Да если бы она только знала, что он попытается отобрать у нее наследство, когда она еще и порадоваться-то не успела, ни за что не пошла бы с ним гулять. Какой в этом смысл, если она с этого получила лишь проповедь о справедливости? Он даже не стал дожидаться, чтобы она в порыве щедрости сама поделилась с братьями. Раз-два-три, деньги гони. А братья, если начистоту, ничего не сделали для Шерли, не написали ей ни строчки, не жертвовали ради нее драгоценными днями летних каникул, не лежали без сна на ее канопе, потому что табачный дым щиплет глаза и нос. Если отец так ее любит, что же он тогда умолчал об этом?

Бекки предложила Джинни Кросс вместе сходить в “Перекрестки”. Ради Бекки та готова была пойти хоть под пули (причем куда охотнее, чем на собрание христианской молодежной группы), но Бекки объяснила, что Таннер Эванс взял ее на слабо.

– Ты тусовалась с Таннером Эвансом? – изумилась Джинни.

– Да нет, просто поболтали.

– Он же вроде с этой, как ее...

– Да, с Лорой. Она классная.

– Но...

– Я же тебе сказала, мы просто поболтали.

– А если бы он позвал тебя на свидание, ты пошла бы?

– Но он не позовет.

– Я прям представляю вас вместе, – не унималась Джинни.

– Ты не представляешь, какой он с Лорой.

– Ты поняла, что я имею в виду. Рано или поздно у тебя появится парень. Ну надо же, Таннер Эванс! Я прям это представляю.

И Бекки тоже это представила. Она понимала, что в глазах таких, как Джинни, это будет высшим подтверждением статуса Бекки, уроком каждому менее значимому парню, воображавшему, будто достоин с ней встречаться, и мысль об этом прочно засела в ее голове. С чего бы Таннеру звать ее в “Перекрестки”? Не намек ли это на его интерес к ней? И даже то, что Таннер над ней смеялся, тоже намекало на его интерес.

Она достаточно знала о “Перекрестках” по рассказам Клема, чтобы одеться попроще, но Джинни она не сторож. Джинни заехала за ней на подаренном родителями серебристом “мустанге”, густо накрашенная, в классических брюках и дорогом парчовом жилете. Бекки ее пожалела, но была не против выделиться на фоне разряженной подруги. Зал “Перекрестков” был битком набит ребятами, которых Бекки знала только по имени, многим дружески улыбалась в классах и коридорах и даже не мечтала оказаться с ними в одной тусовке. В дальнем углу кишели чьи-то тела, точно играли в “Твистер” и вдруг упали, и в самом низу этой кучи ее брат Перри, покрасневшись от удовольствия, отбивался от щекочущей его толстухи в комбинезоне – что ни говори, необычное зрелище. Бекки и Джинни сели возле двух своих прежних подружек из Лифтона. Одна из них, Ким Перкинс, бывшая чирлидерша, которая увлеклась наркотиками, беспорядочными половыми связями и отбилась от команды, сейчас обняла Бекки в знак приветствия и погладила по голове, точно это Бекки, а не Ким сбилась с пути. Ким хотела обнять и Джинни, но та выставила руку: не надо.

И началось. Внизу, в зале собраний, Бекки вместе со всеми участвовала в групповых занятиях, потому что Джинни этого делать не могла. Когда нужно было приклеить себе на спину лист газетной бумаги и фломастером написать что-то на спине у товарища, Бекки раз за разом карябала *“Буду рада с тобой подружиться! ☺ Бекки”*, останавливаясь лишь когда писали у нее на спине, а Джинни в нарядных брюках грустила в сторонке и хмуро поглядывала на ее фломастер, точно не понимала, как эта штука работает. Потом группа образовала кружок из пересекавшихся тел: все легли, положив голову на живот соседу. Особого смысла в этом упражнении не было, разве что посмеяться вместе, чувствуя, как подскакивает твоя голова на чужом смеющемся животе, а у тебя на животе подскакивает голова другого, но Бекки, лежащей меж двумя парнями, с которыми она прежде не обмолвилась словом, показалось странным, что вокруг нее всю жизнь были чьи-то животы, столь же знакомые тем, кому принадлежали, как ей знаком ее собственный, и все эти животы можно было потрогать, но никто почти никогда их не трогал. Странно, что возможность есть всегда, а пользуются ею редко. Когда упражнение закончилось, Бекки даже расстроилась.

– А теперь разобьемся на группы по шесть человек, – сказал Рик Эмброуз. – И я хочу, чтобы каждая группа поговорила о том, в чем мы допустили ошибку. О том, за что нам стыдно. А потом я хочу, чтобы каждый из вас рассказал о поступке, которым гордится. Смысл в том, чтобы *слушать*, понятно? Слушать внимательно. Встретимся здесь в девять.

Не желая оказаться в группе, где она никого не знала, Бекки, оставив Джинни одну, ринулась в ту, которую собирала Ким Перкинс. Друг Перри, Дэвид Гойя, хотел было присоединиться к группе Ким, но Рик Эмброуз преградил ему путь. Бекки не ожидала, что Рик Эмброуз тоже будет выполнять упражнение. Вместе с остальными она пошла наверх и села в коридоре у кабинета отца. При виде его имени на двери у нее сжалось сердце оттого, как она поступила с ним. Она имеет полное право прийти в “Перекрестки”, но предательство есть предательство.

Рик Эмброуз оказался не так ужасен, как рисовала его родительская демонология. Он скорее походил на черноусого сатира на копытцах-каблуках. Следуя собственным наставлениям, Рик внимательно слушал хулигана (Бекки знала его только в лицо), который рассказывал, как, схлопотав по физике пару с минусом, перебил из рогатки все окна в Лифтоне, слушал рассказ, как Ким Перкинс в летнем лагере занималась сексом с вожатым, чья девушка была вожатой у Ким.

– И ты считаешь это ошибкой, – резюмировал Эмброуз.

– Конечно, я поступила плохо, – согласилась Ким.

– Вот слушаю я тебя, – продолжал Эмброуз, – и то, что я слышу, больше похоже на похвальбу. Кто еще с этим согласен?

То, что слышала Бекки, было больше похоже на изнасилование несовершеннолетней. О Ким давно ходила дурная слава, но Бекки не верила сплетням. Бекки на три года старше, чем была Ким в том летнем лагере, а она еще даже ни с кем не целовалась. О чем же рассказывать, когда подойдет ее очередь? Она никогда не отличалась безрассудством.

– Мне понравилось, что я его соблазнила, – сказала Ким. – Что это было так просто. Наверное, я этим гордилась. Но когда я вернулась в отряд и увидела его девушку, мне стало ужасно стыдно. И стыдно до сих пор. Мне противно, что я оказалась способна так поступить просто потому, что подвернулась возможность.

– Ну вот, я опять это слышу, – вставил Эмброуз. – Бекки?

– Да, я тоже это слышу.

– Не хочешь рассказать нам о себе?

Она открыла рот, но не выдала ни слова. Эмброуз и остальные ждали.

– Вообще-то, – сказала она наконец, – прямо сейчас мне стыдно из-за того, как я обошлась с моей подругой Джинни. Я уговорила ее пойти сегодня со мной, а она куда-то ушла.

Бекки опустила глаза. В церкви было очень тихо, другие группы разбрелись, издали доносился шепот их покаянных признаний.

– Наверное, она пошла домой, – предположила Ким.

– Ладно, вот теперь мне стыдно по-настоящему, – сказала Бекки. – Она моя лучшая подруга, а я... Наверное, я плохая подруга. Куда бы я ни пришла, мне все время хочется нравиться, и сегодня я здесь впервые и хочу всем понравиться. Мне следовало бы уделить внимание Джинни.

Сидевшая рядом девушка, на чьей спине Бекки писала, не зная ее имени, нежно взяла ее за плечо. Бекки вздрогнула и даже, кажется, всхлипнула. Пожалуй, ситуация не предполагала таких сильных чувств, но в “Перекрестках” ей почему-то не хотелось скрывать чувства. “Я хочу всем нравиться” – самое честное признание в ее жизни. Бекки осознала, что сказала чистую правду, наклонилась вперед, дала волю чувствам и почувствовала на себе другие прикосновения – в знак одобрения и утешения.

Воздержался один Эмброуз.

– Чего же ты ждешь? – спросил он.

Бекки вытерла нос.

– В каком смысле?

– Почему не идешь искать подругу?

– Сейчас?

– Да, сейчас.

Серебристый “мустанг” по-прежнему был на стоянке. Бекки подошла к водительской двери, Джинни завела мотор, убавила звук (по радио WLS передавали “Спасите страну”¹²) и опустила стекло.

– Прости, – сказала Бекки. – Можешь меня не ждать.

– Ты *остаешься!*

– А ты точно не хочешь вернуться? Обещаю, что больше тебя не брошу.

“*Так идите скорее к славной реке*”, – пропело радио. Джинни покачала головой.

– Я думала, ты пришла сюда только потому, что Таннер тебя подбил.

– Он подбил меня *попробовать*. А не заглянуть на часок.

– Мне и часа хватило за глаза.

¹² Песня певицы Лоры Ниро (1947–1997).

– Прости.

– Я не сержусь, – ответила Джинни, – но честное слово, Бекс, даже не пытайся увлечь меня разговорами о религии.

Бекки же, к собственному удивлению, увлеклась. Началось все со скуки и желания нравиться, но даже в тот первый вечер ей пришлось общаться с ребятами, кому в жизни повезло меньше, чем ей, пришлось выслушивать их, пришлось в ответ объяснять, что она за человек, не прикрываясь статусом, и таким образом ей, как и обещал Таннер, пришлось узнать о себе кое-что новое и не всегда лестное. Казалось, “Перекрестки” вообще не имеют отношения к религии – вокруг ни одной Библии, за весь вечер ни слова об Иисусе, – но и в этом Таннер оказался прав: Бекки обнаружила в себе первые проблески духовности, просто стараясь говорить правду, не скрывать чувств и поддерживать других людей, когда те стараются говорить правду и не скрывать чувств. Не зря Клем верил, что она глубокая личность.

В “Перекрестках” было сто двадцать ребят и всего один идейный вдохновитель. За два часа вечером в воскресенье каждый из участников мог рассчитывать разве что на минуту внимания Эмброуза. Бекки же в последующие недели внимания доставалось куда больше. Эмброуз дважды выбирал ее для парных упражнений, хвалил за то, что ей хватило смелости присоединиться к группе, всегда давал ей слово во время общих дискуссий и хвалил за честность. Пожалуй, она бы стеснялась, что он уделяет ей больше внимания, чем другим, не чувствуй Бекки, что они с Эмброузом похожи. Бекки тоже была из тех, с кем сравнивают и по кому меряют себя другие, и она понимала, что популярность – не только радость, но и бремя. А еще она, к сожалению, пришла в “Перекрестки” слишком поздно, и теперь ей предстояло наверстать с Эмброузом два потерянных года.

Отец почти не разговаривал с нею. Формально она жалела, что обидела его, но не скучала по их фальшивой близости. Надо ему показать, что ей уже восемнадцать и она имеет право распоряжаться своей жизнью. И заодно проучить его за то старое наказание.

По-настоящему храбрый поступок она совершила где-то через месяц в школьной столовой. Она уже перестала краситься по утрам, носила только джинсы, не юбки, но никогда не чувствовала себя настолько вызывающе заметной, как в тот день, когда плюхнула пакетик с ланчем между Ким Перкинс и Дэвидом Гойей. Они вели себя как ни в чем не бывало, но все, кто сидел за обычным столом Бекки, не сводили с нее глаз, особенно Джинни Кросс. И хотя Джинни, пожалуй, должна была бы сказать Бекки спасибо за то, что та освободила ступень лестницы, на которую Джинни теперь могла подняться, сама Джинни считала иначе. Она по-прежнему подвозила Бекки в школу, и Бекки по-прежнему с удовольствием слушала ее сплетни, но, усевшись за стол “Перекрестков”, она переступила черту. Джинни звала участников “Перекрестков” “сладкопевцами”, и Бекки не засмеялась даже когда Джинни впервые их так окрестила, вдобавок она догадывалась (хотя доказать не могла), что Джинни уже не выкладывает ей все услышанные секреты.

То, что этот поступок возвысил ее в глазах Таннера Эванса, компенсировало ей добровольное понижение статуса. Она не только не перестала представлять себя с ним: после того как она публично заявила о себе как об участнице “Перекрестков”, эта мысль буквально ее преследовала. Те, кто разочаровался в ней после того, как она вступила в религиозную группу, могли изменить мнение, увидев ее с Таннером Эвансом. Это был расчет, но вскоре подросли и чувства. Она представляла, как держит Таннера за руку, перебирает кончики его длинных пальцев. Она представляла, как он обнимает ее сзади, как тогда Лору Добрински. Она представляла, как он посвящает ей песню.

В пятницу, после того как она впервые сходила на собрание “Перекрестков”, ее так и подмывало найти Таннера и рассказать ему о своем поступке. Ей понравилось в “Перекрестках”, она собиралась пойти и на следующее их собрание, но едва увидев, что в “Рошу” входит

Таннер с гитарами, засомневалась, не слишком ли быстро сдалась. Будь она неуступчивее, быть может, он продолжал бы ее уговаривать и дразнить.

В тот вечер “Ноты блюза” выступали без Настоящей Женщины. К концу первой части Бекки ставила стулья на столы в пустом зале. Ей по-прежнему хотелось выложить все Таннеру, но она удерживалась. И была вознаграждена: он сам ее отыскал.

– Привет, – произнес он. – Я виделся с Риком Эмброузом. Знаешь, что он мне сказал?

– Нет.

– Ты и правда сходила! Даже не верится. Я-то думал, ты на меня разозлилась.

– Я на тебя разозлилась.

– И все равно подействовало.

– Да, один раз. Больше не пойду.

– Тебе не понравилось?

Она пожала плечами, решив пока что не уступать.

– Ты все еще злишься на меня, – сказал Таннер.

– Я все еще не понимаю, какое тебе дело, пойду я в “Перекрестки” или нет.

Она подняла стул на стол, чувствуя на себе взгляд Таннера. Она ожидала, что он спросит, понравилось ли ей в “Перекрестках”. Но он спросил, не хочет ли она остаться на вторую часть концерта.

– Мне нельзя в тот зал, – ответила Бекки, – разве что принять заказ на напитки.

– Ты здесь работаешь. Никто у тебя не попросит удостоверение личности.

– А где Лора?

– Уехала на выходные в Милуоки.

– Тогда мне тем более не стоит оставаться.

Таннер заморгал, отвел глаза. У него были чудесные ресницы.

– Ладно, – согласился он. – Как скажешь.

По дороге домой и до глубокой ночи Бекки прокручивала в голове этот вечер. Шанс ей выпал и исчез так внезапно, что она не успела толком подумать. Она отказалась, потому что некрасиво действовать за спиной у Лоры? Или ее оскорбило, что ей предложили роль временной заместительницы, дублерши? И зачем она только поспешила отказаться! Она привыкла отвечать отказом на заигрывания парней, потому что все прошлые заигрывания заслуживали отказа. Но что если она осталась бы на вторую часть? А после концерта потусовалась бы с Таннером и его группой, разрешила бы ему подвезти ее до дома, и завтра они снова увиделись бы, и послезавтра, пока Лора в Милуоки?

Второго шанса ей не выпало. В следующую пятницу Лора вернулась в “Роццу”, играла и пела – и с Таннером на два голоса, и соло на синтезаторе в песне “На крыше”, а Бекки сбежала на кухню, чтобы не слышать этого даже издали. В воскресенье она не хотела идти на собрание “Перекрестков”, решив, что этим уже ничего не выиграет в глазах Таннера. Но в восьмом часу ей вдруг стало мучительно одиноко: она к этому не привыкла. Бекки накинула единственное из имевшихся у нее мало-мальски замызганное пальто, вельветовый пиджак, из которого вырос Клем, едва не бегом припустила к Первой реформатской и успела: Рик Эмброуз выбрал ее в партнерши для упражнения.

Задание было такое: *“Расскажи о ситуации, с которой ты никак не можешь справиться и в которой группа могла бы тебе помочь”*. Эмброуз отвел ее к себе в кабинет, которым имел право пользоваться для парных упражнений, и предложил начать первым. Потом опустил глаза (а не сверлил Бекки взглядом, как обычно) и признался, что его пугает численность и рвение группы, созданной с его помощью, и то, что столько ребят дали ему власть над своей жизнью. Трудно оставаться смиренным, и он боялся, что это вредит его отношениям с Богом, ведь отношения между участниками группы так увлекают.

– Молиться проще, когда сознаешь свою слабость, – говорил он. – Силы у Бога просить проще, чем смирения, потому что для молитвы требуется именно смирение. Понимаешь, о чем я?

– Я еще никогда не пробовала молиться, – ответила Бекки.

– Это следующий шаг, – сказал Эмброуз. – И не только для тебя. Группа начиналась как христианское общество, но потом зажила своей жизнью. И меня немного смущает то, чему мы дали волю. Чему я дал волю. Меня смущает, что если все это не приведет нас обратно к Богу, то это, по сути, всего лишь интенсивный психологический эксперимент. Который с одинаковой легкостью может и раскрепостить человека, и причинить ему боль.

Признание Эмброуза показалось Бекки чересчур откровенным даже по меркам “Перекрестков”. Ей польстила его искренность: она сочла это лишним доказательством того, что они похожи. Но она всего лишь старшеклассница, а не его духовник.

– Я понимаю, что это большая тема, – неожиданно для себя ответила Бекки, – но если мой отец что и умеет, так это ставить веру на первое место. Мне от этого всегда было неловко. Наверное, в этом смысле он был полезен группе?

Эмброуз поморщился.

– Понял тебя.

– Я хочу сказать, то, что вы делаете, замечательно. Я не умею молиться. И мне нравится, что меня не заставляют это делать. Но...

Но что? Предложить вернуть отца в “Перекрестки”? Бекки представила, как на воскресном собрании тот разглагольствует о Христе, и мысленно содрогнулась. Если отец вернется, она тут же уйдет из группы.

– А ты? – спросил Эмброуз. – С чем тебе никак не удастся справиться?

В ответ на его искренность Бекки призналась, что ей нравится Таннер Эванс. И что в “Перекрестки” она пришла из-за Таннера. И что, если она не ошибается, Таннер к ней тоже равнодушен. И что она хотела бы завести с ним отношения, но считает некрасивым влезать между Таннером и Лорой. И что ей делать?

Если Эмброуз и удивился, то не показал этого.

– Мне нравится Таннер, – сказал он. – По-моему, никому, кроме него, не удалось добиться таких успехов в группе. Если бы все были такими, как он, я бы не беспокоился о том, куда мы движемся. Ему и правда удалось прийти к Богу – и даже не загордиться.

– А Лора? – спросила Бекки.

– Лора постоянно мне грубила. Что ж, надо отдать должное ее прямооте. Если Лоре что-то в тебе не нравится, она обязательно тебе об этом скажет.

– Ясно.

– Но Таннер человек мягкий, это и хорошо, и плохо. Я не скажу тебе, как правильно поступить. Но я скажу тебе, что думаю: в их отношениях инициативу всегда проявляла Лора. А Таннер скорее шел по пути наименьшего сопротивления.

Полезная информация.

– Может, мне не стоит с ним связываться? – спросила Бекки.

– Если хочешь жить спокойно, то да. Ты хочешь жить спокойно?

Она уже знала, что слова “спокойная жизнь”, как и “пассивная агрессия”, считаются в “Перекрестках” ругательством. Жить спокойно – значит, не рисковать, а без этого невозможен духовный рост.

– Не ты должна скрывать чувства, – добавил Эмброуз, – а Таннер решать, как ему с ними быть и что он сам чувствует к тебе.

Эмброуз, как и отец, заявил, что не станет учить ее, как быть, хотя именно это сейчас и сделал, но в случае с Эмброузом Бекки не обиделась. Самое трудное – придумать, как показать Таннеру свои чувства. Она так любила покой! Вся ее прежняя жизнь строилась вокруг него!

Но раз уж она упустила шанс с Таннером, придется проявить инициативу; Бекки представила, как заигрывает с Таннером, и ей это не понравилось. Во-первых, это рискованно, не говоря о том, что трудновыполнимо, если поблизости окажется Лора, к тому же Бекки сомневалась, что у нее получится заигрывать. И в качестве компромисса она решила написать Таннеру письмо.

Дорогой Таннер!

Я солгала, когда сказала, что все еще сержусь на тебя. На самом деле я перед тобой в долгу: спасибо тебе огромное, что ты посоветовал мне пойти в “Перекрестки”. Я чувствую, что за эти три недели выросла как личность и не боюсь рисковать. Ты был прав, я действительно жила, затаив дыхание. Теперь я дышу полной грудью. Я стараюсь открыто говорить о том, что чувствую, а чувствую я вот что: мне хотелось бы узнать тебя получше. Если ты чувствуешь то же самое, может, как-нибудь сходим погулять или что-нибудь в этом роде? Мне бы очень этого хотелось.

*Твой друг (я на это надеюсь),
Бекки*

Письмо, которое она писала и переписывала трижды, внушало ей ужас. Она положила его в конверт, заклеила, потом разорвала конверт, перечитала письмо, положила в другой конверт и спрятала в комод. Оно дождалось момента, когда при встрече, не таясь, она вручит его Таннеру, и тут на День благодарения из колледжа приехал Клем.

Бекки обрадовалась, что с вокзала Клема забирал отец: можно было пойти с Клемом на прогулку, а отца не звать. С лета Клем отпустил подобие бородки, отрастил длинные волосы и обзавелся черным бушлатом. Казалось, за эти три месяца он повзрослел на годы. Они гуляли в низком послеполуденном солнце, он в бушлате, она в его вельветовом пиджаке, и Бекки радовалась тому, что тоже скоро станет взрослой, тому, как внушительно смотрятся они с братом, старшие дети в семье. Они – молодое поколение. С ними придется считаться.

Из маминых писем Клем знал, что Бекки вступила в “Перекрестки”. Он одобрил ее поступок, но не понимал, почему она так решила.

– Я разозлилась на папу, – пояснила Бекки.

– Из-за чего?

– Мне куда интереснее, что *ты* там делал. В смысле, теперь я сама там и знаю, что это такое. И некоторые упражнения...

– До папиного ухода мы их делали редко. Я ходил туда ради музыки и работы. А все эти тренировки чувствительности – что ж, за все приходится платить. Там были ребята вроде меня, мы выбирали друг друга в партнеры и говорили о книгах или о политике.

– Тебе доводилось делать упражнение на крик?

– А что тут такого? Уж лучше, чем обниматься. Нужно было обойти комнату и всех обнять. Но загвоздка в том, что: а) всегда находились те, кто не хотел обниматься, и б) как узнать, хочет ли человек обниматься? Предполагалось, что нужно спросить разрешения и тебе ответят “да”. Помню, подхожу я к Лоре Добрински, спрашиваю ее, можно тебя обнять, а она такая: нет. Она, мол, всегда делает только то, что сама хочет. Ну, думаю, спасибо, Лора. Рад, что мы поговорили начистоту. А то я беспокоился, хочешь ли ты меня обнять.

– Что ты думаешь о Лоре?

– У нее настоящий дар унижать людей. Слышала бы ты, как она разговаривала с папой. Это ведь она затеяла ту бучу.

– Я этого не знала.

– Ну то есть в этом участвовала не только она, но она явно была заводилой.

Бекки лишь в общих чертах представляла, почему отец ушел из “Перекрестков”, хотя Клем тогда ей все объяснил. Бекки поняла так, что отец достал всех своими проповедями и Рик Эмброуз попросил его уйти. Бекки не считала, что отец всегда прав, но разозлилась, что Лора посмела его оскорбить.

– А что она сделала?

– Был кошмарный скандал. Я даже рассказывать не буду.

– В “Роце” я общаюсь с Таннером Эвансом. Они с Лорой выступают там по пятницам.

– Таннер хороший.

– Ага. Даже странно, что он с Лорой.

– Почему?

– Ну то есть они оба музыканты. Но он такой симпатичный, а она... коротышка. Понимаешь, о чем я?

– Лора не виновата, что не вышла ростом, – отрезал Клем.

– Да, разумеется.

– И не следует придавать такое значение внешности.

Бекки уязвило его замечание. Она ведь ничего такого не сказала – подумаешь, Таннер очень красивый, а Лора так себе. Ей лишь хотелось, чтобы Клем согласился: вместе они действительно смотрятся странно.

Вместо этого Клем разразился тирадой о том, что благодаря Таннеру и его друзьям-музыкантам в “Перекрестки” ходит в два раза больше народу. Бекки льстило подтверждение социального статуса Таннера, но Клем, похоже, изменился не только внешне. Дело не в бушлате, бородке, длинных волосах. Теперь ему, казалось, больше нравится говорить, чем слушать. Они сидели за столом для пикника в Скофилд-парке, смотрели, как удлиняются тени деревьев на пожелтевшей траве, и наконец Бекки узнала причину.

Причину звали Шэрон. Она училась на третьем курсе Иллинойского университета, они познакомились на занятиях по философии. Клем рассказывал Бекки, как отважился пригласить Шэрон на свидание, как на свидании они горячо заспорили о Вьетнаме и как удивительно встретить девушку, которая в споре умеет не только отстаивать свою правоту, и Бекки неожиданно поняла, что не хочет знать подробности. И что лично ей больше нравится говорить. К Шэрон она чувствовала неуместную неприязнь, ей неловко было слушать про то, как счастлив Клем. Казалось, это подтверждает: кое-что в дружбе Клема и Бекки было, если вдуматься, неуместным. И когда он принялся разливать о том, каким откровением для него стало изведенное впервые животное влечение и мощное животное наслаждение (Клем, вероятно, имел в виду полноценный секс), и какое откровение ждет Бекки, когда та, в свою очередь, будет готова соприкоснуться с животным своим естеством, у Бекки зашумело в ушах, она вскочила и пошла прочь от стола.

Клем побежал за ней.

– Какой же я идиот, – сокрушался он. – Ты не хотела все это слушать.

– Ничего страшного. Я рада, что ты счастлив.

– Мне очень хотелось кому-нибудь рассказать, а ты же знаешь, как я люблю рассказывать тебе обо всем. И так будет всегда. Ты же это знаешь, правда?

Бекки кивнула.

– Можно тебя обнять?

Она не сразу поняла шутку. Но потом засмеялась, и все у них стало как прежде, Бекки рассказала Клему про наследство Шерли и о том, что сказал ей отец.

– Да пошел он, – ответил Клем. – Пошел он в жопу.

Все у них стало как прежде.

– Правда, Бекки, это какая-то фигня. Деньги твои. Ты их заслужила, Шерли тебя любила. И ты вправе делать с ними что хочешь.

– А если я хочу половину отдать тебе?

– Мне? Да не надо мне ничего давать. Съезди в Европу, поступи в классный колледж.

– А если я *хочу* поделиться с тобой? Тогда ты сможешь со следующего года перевестись в университет получше.

– Чем плох ИУ?

– Но ты ведь умнее меня.

– Неправда. Просто я никогда особо ни с кем не общался.

– Но если ИУ годится для тебя, почему тогда для меня он не годится?

– Потому что... меня не раздражают ребята с ферм. Мне все равно, в какой комнате жить.

А тебе лучше выбрать Лоуренс или Белойт. Я представляю тебя в каком-то таком месте.

Она тоже представляла себя в каком-то таком месте.

– Имея шесть с половиной тысяч, – возразила Бекки, – я все равно смогу туда поступить.

А ты отложишь свою долю на аспирантуру.

Клем только теперь понял, что она предлагает ему несколько тысяч долларов. И уже спокойнее объяснил ей, что у нее есть два варианта: либо не давать никому ничего, либо поделиться поровну со всеми братьями. Если она поделится только с ним, Перри с Джадсоном обидятся, да и вообще это некрасиво. От трех тысяч долларов никто из них богаче не станет, и лучше бы ей оставить все деньги себе, что бы там ни думал старик.

Клем так разумно все это изложил (он и правда умнее, чем Бекки, и не такой жадный, и учитывает чужие чувства), что она обрадовалась: значит, можно оставить все деньги себе. Но от благодарности еще больше захотела поделиться с ним.

– Я не возьму, – сказал Клем. – Неужели ты не понимаешь, как это некрасиво?

– Но если я все оставлю себе, папа меня убьет.

– Я с ним поговорю.

– Не надо.

– Нет, надо. Мне надоел этот ханжеский бред.

Домой они вернулись затемно. Клем сразу пошел на третий этаж, и этажом ниже Бекки, сидя на своей кровати, с неловкостью слушала, как они с отцом ругаются из-за нее. Она не знала Шэрон и не хотела знать, но едва ли та отдавала себе отчет, какой Клем хороший человек. Наконец он спустился, встал в дверях.

– Я вправил ему мозги, – сказал он. – Если будет тебя донимать, ты только скажи.

Сберегательная книжка в ящике комода, излучавшая тревогу, успокоилась, осознав, что пятизначной цифре ничего не грозит. Деньги принадлежали Бекки, она считала, что это правильно, поскольку хотела денег больше, чем братья, и точно знала, как ими распорядится, а вот теперь Клем, единственный, чье мнение она ценила, подтвердил, что это правильно. Отец и раньше держался с нею холодно, а когда мать высказала ей недовольство, Бекки ее огорошила: предложила следующим летом вместе поехать в Европу и пообещала потратить оставшиеся деньги на образование. И хотя придумала это не Бекки, идея была блестящая. Не то чтобы матери очень хотелось увидеть Европу, но семейная жизнь чем-то похожа на школьный микросм. Мать не пользовалась популярностью, и ей польстило милостивое приглашение Бекки.

Вечером после Дня благодарения Бекки взяла страшное письмо с собой в “Роцу” и спрятала в карман передника. Не помня себя от волнения, она принимала заказы, дважды принесла одному и тому же посетителю не тот салат и не получила чаевые от краснолицего отца семейства, которому пришлось искать ее по всему заведению, чтобы она выписала ему счет. Почему она до сих пор работает в “Роце”? У нее же есть целых тринадцать тысяч долларов. Вот отдам письмо, думала Бекки, и уволюсь. Но в заднем зале кишели друзья и поклонники Таннера, вернувшиеся домой из колледжей, и после первой части концерта она не сумела к нему обратиться: дорогу ей преградила восторженная толпа.

Бекки мялась поодаль, как вдруг откуда-то сбоку послышался голос Лоры Добрински:

– Говорят, ты пошла в “Перекрестки”.

Бекки опустила глаза и покраснела. Коротышка в розовых очках, у которой Бекки намеревалась отбить парня, поднесла спичку к сигарете.

– Я так понимаю, это Таннер тебя уговорил?

– Вообще-то это моя церковь.

Лора помотала спичкой, нахмурилась:

– Разве ты ходишь в церковь?

– В смысле по воскресеньям?

– Вот не знала, что ты у нас богомолка.

– Ты вообще меня плохо знаешь.

– Это значит “да”?

Какое твое дело, подумала Бекки.

– Говорю же, ты вообще меня плохо знаешь.

– Ну да, ну да, и “Перекрестки” я тоже плохо знаю. Даже рада, что оттуда свалила.

Бекки снова покраснела.

– Тебя что-то во мне не устраивает?

– Разве что в общих чертах. Надеюсь, тебе там хорошо.

Оставив дрожащую Бекки, Лора нырнула в окружающую Таннера толпу масляных хвостиков, вышитых джинсов и принялась раскрывать знакомым объятиям, которых не удостоила Клема. “Разве что в общих чертах?” По крайней мере, пока что Бекки ничего страшного не сделала, только вступила в “Перекрестки”. Не иначе как Настоящая Женщина учуяла письмо, лежащее в кармане передника.

А поскольку поговорить с Таннером с глазу на глаз сегодня вряд ли получится, Бекки унесла письмо домой. Конверт оказался в масле, но она не сумела заставить себя снова его открыть. И держать письмо у себя еще неделю тоже не сумела себя заставить. Не послать ли его по почте, подумала Бекки, но она не знала наверняка, живет ли Таннер с родителями или уже нет; о его жизни за пределами “Роши” она имела самое смутное представление. Она хотела было поискать его фамилию в телефонном справочнике, как вдруг вспомнила слово “богомолка”.

Утром Бекки спросила у матери, ходит ли Таннер Эванс на воскресные службы. Та не сразу ответила и так посмотрела на Бекки, что она поняла: мать догадывается, почему Бекки интересуется Таннером.

– Если и ходит, то не к девяти, – сказала мать. – Но вообще по воскресеньям я вроде бы видела его в церкви. Спроси у отца.

Отцу об этом знать не следовало. В воскресенье утром, когда Клем и Перри спали, а родители с Джадсоном уже ушли на раннюю литургию, Бекки надела скромное длинное платье, положила в сумочку письмо и отправилась в Первую реформатскую. Она не ходила в церковь с тех самых пор, как окончила воскресную школу, – не считая “полуночных” рождественских богослужений (которые, как всё на Среднем Западе, начинались на час раньше). И когда она прошла по устланному ковром притвору, лица взрослых прихожан озарились радостью и удивлением. Мать в церковном платье и отец в священническом облачении болтали с прихожанами, которые задержались после девятичасовой литургии. В углу Джадсон читал книгу, дожидаясь, когда его отведут домой. Завидев Бекки, мать лукаво улыбнулась, догадываясь, почему та пришла.

Бекки взяла у встречающих программку, села в последнем ряду и принялась ждать подтверждения, что она правильно разгадала необычный Лорин вопрос. Что если Лора тоже придет? Вряд ли, судя по тому, как она произнесла “богомолка”. Заиграл органист (тетя наверняка определила бы, кто композитор), и пришедшие на позднюю литургию прихожане стали рассказывать на скамьях. Бекки оборачивалась на каждого вошедшего – не Таннер ли? – и в конце

концов ей стало неловко, что она так часто вертит головой. Она разгладила подол, сложила программку треугольничком и вперилась в висевшее за алтарем распятие из дерева и латуни. Чем дольше Бекки его рассматривала, тем сильнее удивлялась. Если вдуматься, странно, что его где-то смастерили, причем теми же инструментами, какими делают столы и шкафы. Изготовитель распятий: странная работенка. Интересно, как за нее платят? Наверное, теми деньгами, которые люди, ничего не получая взамен, без счета кладут на блюда для пожертвований, тоже из дерева и латуни (а может, их даже сделал тот же мастер).

Таннер, который в двенадцатом часу один вошел в храм, не был похож на того Таннера, которого она знала. Он был в дурацком клетчатом спортивном пиджаке и даже в галстук, хотя расхлябанный узел неуклюже топорщился. Таннер сел напротив нее, по другую сторону прохода, и Бекки перевела взгляд на алтарь (из боковой двери как раз выходил отец с преподобным Хефле), но кожей почувствовала, что Таннер повернулся и заметил ее: к лицу прилила кровь. Музыка смолкла, Таннер привстал, пересек проход и уселся рядом с ней.

– Что ты здесь делаешь? – прошептал он.

Она качнула головой: тише.

– Отец наш небесный, – с молитвенными интонациями произнес с кафедры ее отец: больше Бекки не слышала ни слова, будто оглохла. Отец был высокий, красивый, но для Бекки его черное облачение и пылкая искренность сводили на нет его светскую ипостась. Она сидела неподвижно, корчась в душе, и считала секунды до того момента, когда он наконец заткнется. Лишь сейчас, вернувшись в храм после долгого отсутствия, она ясно осознала, как сильно ей претило быть дочкой священника. Отцы ее друзей строили дома, лечили больных, ловили преступников. Ее же отец все равно что мастер, который делает распятия, только хуже. Его набожность и горячая вера грозили вьесться в нее, как запах, как вонь “Честерфилда”, только сильнее, потому что от них просто так не отмоешься.

Но потом, когда паства поднялась, чтобы пропеть “Слава Отцу”, и стоящий рядом с Бекки Таннер в нелепом своем пиджаке затянул чистым сильным голосом, так непохожим на ее стыдливое бормотанье, и когда она тоже повысила голос, “Как было изначала и ныне, и присно, и во веки веков”, в душе ее вдруг мелькнуло желание, прежде таившееся, быть частью чего-то и во что-то верить. Быть может, это желание было во мне всегда, подумала Бекки, и только отец, стыд за него, мешал мне это желание выполнить. Быть может, это медное распятие, тот факт, что его кто-то сделал, не так уж и абсурден. Быть может, стоит восхититься тем, что две тысячи лет после казни Христа люди по-прежнему наполняют монетами блюда для сбора пожертвований, чтобы создавать распятия в его честь.

И тут Бекки осенило: Лоре не нравится, что Таннер ходит в церковь, и скорее всего, это повод для будущего раздора, а если она, Бекки, откроется возможности веры, то получит неожиданное преимущество, и, пожалуй, разумнее не совать Таннеру письмо прямо сейчас, чтобы он не подумал, что она только за тем и пришла, а вместо этого продолжить посещать воскресные службы.

Они запели “За добро земных красот” по одному сборнику гимнов, Бекки склонялась над книгой, касаясь волосами руки Таннера, а потом преподобный Хефле прочел проповедь. В тот единственный год, когда Бекки вынуждена была посещать богослужения, она сидела не шевелясь, пока отец читал проповедь, потому что боялась, что если заерзает, то заерзают и другие прихожане, и ей станет неловко, ведь она Хильдебрандт, но бесконечных лирических разглагольствований Дуайта Хефле не вынесла даже Бекки. Она слушала его, надеясь, что, раз теперь ей лет больше, то и поймет она больше, но после упоминания о Рейнгольде Нибуре¹³ не выдержала и залюбовалась руками Таннера. Ее так и подмывало к ним прикоснуться. В пиджаке и галстук он походил на мальчишку, которого в церковь наряжала мама. Хефле пере-

¹³ Карл Пауль Рейнгольд Нибур (1892–1971) – американский протестантский теолог, социальный философ, политолог.

шел к важности смирения, не самая любимая тема Бекки, хотя, пожалуй, ей не мешало бы поработать над этим, если она всерьез решила прийти к вере, и ее вдруг осенило: а ведь Таннер, оставив дома замшевый пиджак с бахромой и ковбойские сапоги, сделал именно то, о чем говорил Хефле. Всю неделю (за исключением одного часа) ни у кого не вызывало сомнения, что Таннер выглядит клево, но для церкви он уничижился, и Бекки это умилило.

Они встали прочесть “Отче наш”, и Бекки показалось, что она давным-давно его девушка, если не жена, а грех, за который она просит прощения у Отца небесного, в том, что она намерена увести Таннера у Лоры.

– Ты здесь, – сказал он, когда служба закончилась.

– Ага, все меняется. Я пробую новое.

Он смотрел на нее так, словно не мог разгадать. Уже хорошо.

– Я должна тебя поблагодарить, – продолжала Бекки. – За то, что уговорил меня заглянуть в “Перекрестки”. Я учусь открыто выражать чувства. И... – Она вспыхнула, осеклась. Он не сводил с нее глаз. – Ты будешь здесь в следующее воскресенье?

– Как обычно.

Она кивнула – чересчур оживленно – и встала.

– Ладно, тогда увидимся.

Проходя по притвору, Бекки замедлила шаг, чтобы ее увидел отец (она рассчитывала без труда заработать очки за посещение церкви), но он увлеченно беседовал с Китти Рейнолдс и какой-то миниатюрной блондинкой, которую Бекки не знала. Отец, не отрываясь, с улыбкой смотрел на блондинку. Едва он заметил Бекки, улыбка его испарилась. Но потом он снова посмотрел на ту женщину, и улыбка вернулась.

Сомневаться не приходилось: отец списал Бекки со счетов и живет себе дальше. Когда она выходила из церкви, в голове ее всплыли слова “пошел он в жопу”. Так говорил Клем, но Бекки произнесла эту фразу впервые, пусть и мысленно. Обнаружившийся интерес дочери к Первой реформатской, который должен был бы польстить отцу, явно значил для него меньше, чем злоба на Рика Эмброуза. Вот тебе и христианский священник.

– Да, Таннер был там, – с порога объявила она матери, не дожидаясь досадных расспросов.

– Вот и славно, – откликнулась мать. – Он портит Рику Эмброузу в остальном безупречную статистику молодых людей, которых ему удалось отвратить от богослужений.

На это Бекки не клюнула.

– Не сомневаюсь, Таннеру будет приятно услышать, что он заслужил твое одобрение.

– По-моему, твое ему куда важнее, – парировала мать. – И я так понимаю, он уже заслужил его.

– Я не собираюсь это обсуждать! – С этими словами Бекки вышла из комнаты.

Через несколько дней она свалилась с такой сильной простудой, что вынуждена была позвонить в “Рошу”, предупредить, что заболела, и пропустить воскресную литургию. Поправившись, Бекки сделала следующий шаг: после школы шла тусоваться в Первую реформатскую, сидела возле кабинета Эмброуза вместе с другими девицами, которые любезно объясняли ей подоплеку тех или иных слухов о “Перекрестках”, помогали понять, что смешно, а что гадко. Когда Бекки надоело играть роль новичка, она спустилась в зал собраний и нашла там команду из трех мальчишек, во главе с собственным братом, которые с помощью трафаретов рисовали афиши для рождественского концерта. По-хорошему ей следовало бы помочь им, потому что пора было копить часы для весенней поездки в Аризону (чтобы тебя взяли в Аризону, нужно было отработать минимум сорок часов – помогать группе бесплатно или за деньги), но если ей что и не нравилось в “Перекрестках”, так это присутствие Перри. Ее брат был талантлив во всем, включая живопись (вот и к этой афише он тоже приложил руку), но в последнее время от одного лишь его вида у Бекки волосы вставали дыбом, как шерсть у

собаки, почуявшей призрака; можно подумать, она живет под одной крышей с психопатом, чей успех зиждется на разного рода грязных делишках. Кое о чем Бекки знала, но догадывалась, что не обо всем. Перри поднял глаза от трафарета, руки в красной рождественской краске, и ухмыльнулся ей. Бекки развернулась и ушла.

Когда ей наконец позволили войти в кабинет Эмброуза и он спросил ее, как дела дома, Бекки неожиданно для себя призналась, что беспокоится за мать. Еще две недели назад она сочла бы это предательством и не стала бы передавать отцовскому врагу сведения о домашних. Теперь же рассказывала с удовольствием.

– Мама держит лицо, – говорила Бекки. – Но я чувствую, что ей тяжело, а Клем считает, что отец собирается от нее уйти. Может, это выдумки Клема, но он постоянно об этом твердит.

– Клем парень умный, – вставил Эмброуз.

– Да. Я очень его люблю. Но я беспокоюсь за маму. Она так привязана к отцу, никогда ему ни в чем не перечит, разве что когда он ругает Перри. Мама верит, что Перри гений. Нет, он, конечно, в каком-то смысле и правда гений. Но она даже не догадывается, сколько он творит всякой фигни.

– Ты уверена?

– По крайней мере, от меня она об этом не слышала, в этом я твердо уверена.

– Ты его защищаешь.

– Защищаю, но не его. Мне жалко мать, ей и так нелегко. И я не хочу, чтобы она переживала еще и из-за Перри.

– Думаешь, мы можем ему помочь?

– “Перекрестки”? Я думаю, он пришел сюда только потому, что здесь его друзья, а потом уже проникся. Не знаю, может, это и хорошо?

Эмброуз молча смотрел на Бекки.

– Но не очень-то я в это верю, – добавила она.

– Я тоже, – согласился Эмброуз. – Когда он вошел, я сразу сказал себе: “От этого парня жди неприятностей”.

У Бекки перехватило дыхание. Даже не верилось, что Эмброуз настолько ей доверяет, чтобы сказать такое. На один сбивающий с толку миг ее сердце перепутало его с Таннером. Такая искренность крепче Таннеровой, как виски крепче пива. На поросшей черным волосом руке Эмброуза не было обручального кольца, но Бекки слышала, что в семинарии (где он, кстати, числился до сих пор) у него есть девушка. Все равно что узнать, что у Иисуса есть девушка.

Взрыв девичьего смеха за дверью напомнил Бекки, что она лишь одна из многих. И, словно чтобы предупредить отказ и сохранить достоинство, Бекки наскоро извинилась, выбежала из церкви, и сердце ее опомнилось.

В следующее воскресенье после службы они с Таннером устроились на задней скамье и проговорили час с лишним. Кто-то выключил в церкви свет, и они остались сидеть в более торжественном свете, лившемся из витражных окон. Бекки радовалась, что в конце концов ей не пришлось, как в “Перекрестках”, признаваться Таннеру в том, что она хочет узнать его лучше.

Обмен былыми впечатлениями выявил интересный факт: оказывается, Бекки даже в десятом классе казалась Таннеру невозможно неприступной. Да нет, это ты неприступный, возразила Бекки, и он рассмеялся, принялся отрицать, как подобало при его незаносчивой натуре, но она видела, что Таннер польщен. О “Перекрестках” и друзьях Таннера, которые теперь служили там наставниками, они не упоминали; Бекки лихорадочно размышляла. Логично, даже невозможно не предположить, что два таких уникальных и на первый взгляд неприступных человека просто обязаны быть вместе. Но что если “быть вместе” означает всего лишь дружбу?

Бекки поняла, что выхода нет: придется рискнуть. Деланно-непринужденным тоном она спросила Таннера, почему Лора не ходит с ним в церковь.

– Ее воспитывали в католичестве. – Таннер пожал плечами. – Она ненавидит любые организованные религии.

Бекки ждала.

– Лора гораздо решительнее меня. Когда мы окончили школу, она была готова рвануть в Сан-Франциско. Спать в фургоне, влиться в тамошнюю тусовку.

– И почему ты не поехал?

– Не знаю. Наверное, я не настолько сильно люблю тусоваться – так, чтобы закатиться к кому-нибудь и всю ночь не спать. Раз в неделю еще ладно, или под наркотой, но вообще я предпочитаю выспаться, встать пораньше и репетировать. Я хочу стать музыкантом, и мне еще многого предстоит добиться.

– Ты и так играешь замечательно.

Он бросил на нее благодарный взгляд.

– Ты ведь не из вежливости это сказала?

– Нет, что ты! Мне нравится тебя слушать.

Бекки смотрела, как Таннер отреагирует на ее слова. Похоже, он обрадовался. Расправил плечи и ответил:

– Я хочу записать демо-альбом. И сейчас посвящаю этому все силы. Написать двенадцать приличных песен до того, как мне исполнится двадцать один. Я боялся, что, если мы отправимся в путь, я заброшу это дело.

– Я тебя понимаю.

– Правда? По-моему, Лора этого не понимает. Она талантливая, но не стремится стать профессиональным музыкантом. Моя бы воля, мы играли бы три-четыре концерта в неделю. Блюз, джаз, шлягеры, что угодно. Вкладывали бы время и силы, привлекали слушателей. Хозяева баров думают только о деньгах, Лору это раздражает. Попроси ее спеть что-то из Пегги Ли¹⁴, она рассмеется тебе в лицо. А я...

– Ты более целеустремленный, – вставила Бекки.

– Возможно. У Лоры куча самых разных занятий, она работает на телефоне доверия, состоит в женской группе. Мне же довольно и того, что я занимаюсь музыкой и стараюсь почувствовать себя ближе к Богу. Знаешь, мне правда нравится ходить в церковь. И нравится видеть тебя тут.

– Мне тоже нравится тебя видеть.

– Правда? А то я боялся, что не нравится.

Она взглянула ему в глаза, говоря без слов, что ему нечего опасаться. Бог знает, что случилось бы дальше, если бы в ризнице не послышались шаги, гулкий металлический лязг. Дуайт Хефле, уже без облачения, шелкнул дверной щеколдой.

– Можете остаться, – сказал он, – дверь открывается изнутри.

Но Таннер уже вскочил, поднялась и Бекки. Слишком хрупким было мгновение, чтобы пытаться его повторить. Они направились к выходу, и по пути к двери Таннер рассказал Бекки, как Тоби Айзнер и Топпер Морган накурились травы и напились виски в алтаре накануне третьей поездки в Аризону, а Эмброуз прямо на парковке, возле загруженных автобусов и мающихся от безделья участников “Перекрестков”, собрал группу, устроил безбожникам знатную выволочку и провел дискуссию по поводу того, стоит ли брать их в Аризону. Обсуждение длилось два часа. Топпер Морган так рыдал, что у него лопнул кровеносный сосуд в глазу. А в церкви с тех пор запирают двери в алтарь на замок.

¹⁴ Пегги Ли (настоящее имя Норма Делорис Эгстром, 1920–2002) – американская джазовая певица, актриса, автор песен.

Бекки отправилась домой, досадуя, что так и не удалось выяснить, как обстоят дела у Таннера и Лоры. Ей хотелось значить для него больше, чем случайное приключение. Конечно, у Бекки не было опыта в любви, но ее гордость, нравственность и общая порядочность предполагали, что, прежде чем она согласится стать вторым слагаемым, из суммы нужно недвусмысленно вычесть Лору. Узнать удалось лишь самую малость: Таннер по-прежнему жил с родителями. Раз он не живет с Лорой, значит, не может предпринять и решительных действий. Тем важнее казался Бекки официальный разрыв. Она считала это обязательным и, позволив Таннеру поцеловать себя прежде, чем он выполнил это требование, почувствовала, будто изменила себе, превратилась в человека, которого порицает и не понимает.

Через пять дней после их, на первый взгляд, судьбоносного разговора в церкви, Бекки увидела, как в “Роше” Лора Добрински, поднявшись на цыпочки, прижимается лицом к лицу Таннера, а он с довольной улыбкой позволяет ей тыкаться в него губами. Бекки словно ударили под дых. Она спряталась в туалетной кабинке и пролила первые слезы из-за мужчины. От этих переживаний она пропустила и воскресную литургию, и занятие в “Перекрестках”: ей казалось, будто они обманули ее доверие, не предупредив, что, отважившись пойти на риск, рискуешь потом мучиться, а в школе с трудом дотянула до каникул.

Прошлым вечером она подменяла коллегу. Обычно Бекки работала в “Роше” в другие дни. И когда в ресторан вошел Таннер, причем один, он явно не надеялся застать ее там. Бекки решила, что это неудачное совпадение, и попросила другую официантку, Марию, которая давно работала в “Роше”, принять у него заказ. Бекки чувствовала, что Таннер смотрит на нее, но даже ни разу не обернулась, пока не разошлись все посетители. Таннер – само спокойствие – сидел, развалившись на стуле, перед ним на столе стояла пустая десертная тарелка. Таннер махнул Бекки.

– Чего? – сказала она.

– У тебя все в порядке? Я высматривал тебя в церкви в воскресенье.

– Я не пошла. И вряд ли еще пойду.

В горле, как в детстве, стояла горечь досады на саму себя, и хотелось самой себя наказать.

– Бекки, – сказал Таннер, – я тебя чем-то обидел? Мне кажется, ты на меня злишься.

– Нет, я просто устала.

– Я позвонил тебе домой. Твоя мама сказала, ты тут.

Ничто не мешало ей развернуться и уйти. Она и ушла.

– Эй, ты куда? – Таннер вскочил и направился следом. – Я пришел тебя повидать. Думал, мы с тобой друзья. Если ты на меня злишься, хотя бы скажи за что.

Протиравшая столик Мария смотрела на них. Бекки ушла на кухню, но Таннер не растерялся и вошел следом за ней. Бекки резко развернулась.

– Сам догадайся, – съязвила она.

Она знает себе цену. Пусть сперва поклянется, что порвал с Настоящей Женщиной. На меньшее Бекки не согласна.

– Что бы это ни было, – ответил Таннер, – извини.

– Спасибо, что извинился.

– Бекки...

– Чего?

– Ты мне правда нравишься.

Этого мало. Она взяла тряпку, вернулась в обеденный зал и принялась протирать столы. Этого мало, но тут она услышала, как Таннер грохнул дверь. Бекки услышала, что его задело: он позвонил ей домой, приехал сюда, а она так плохо с ним обошлась, и вдруг та девушка, которой она была и которую не понимала, выбежала в ночь. Таннер понуро стоял, привалившись к борту своего фургона “фольксваген”. Услышав ее шаги, опережавшие ее здравый смысл, Таннер поднял глаза. Она бросилась к нему в объятия. Повеял южный ветерок – скорее весенний,

чем осенний. Руки, о которых она мечтала, касались ее головы, волос. А потом как-то само собой, неожиданно и неразумно, случилось то, что случилось.

Ее разбудил телефонный звонок. Она заснула на спине, поперек кровати, открыла глаза и увидела в раме окна серое небо, разбитое черными ветками. Мать постучала в дверь.

– Бекки? Тебе звонит Джинни Кросс.

Она подошла к телефону в спальне родителей, дождалась, пока внизу мать повесит трубку. Джинни звонила насчет сегодняшней вечеринки у Кардуччи. Бекки было приятно, что Джинни по-прежнему зовет ее с собой, и даже, пожалуй, ради их дружбы приняла бы приглашение. Но она собиралась на концерт.

– А сегодня концерт?

– В “Перекрестках”, – сказала Бекки.

Молчание.

– Ясно, – ответила Джинни.

– Между прочим, я иду с Таннером.

– С Таннером Эвансом?

– Да, он выступает и пригласил меня.

– Так-так-так.

Бекки подмывало рассказать подруге еще кое-что, но она и без того, пожалуй, сказала слишком много. Вообще-то Таннер не знал, что они идут на концерт вместе. После их долгого поцелуя Бекки считала, что иначе и быть не могло, но слишком многое оставалось недосказанным, и она не успокоится, пока весь мир не увидит, как она входит в Первую реформатскую под руку с Таннером. Бекки предложила Джинни вместе отправиться по магазинам. Даже забавно, как охотно та согласилась, несмотря на то что они неделями толком не общались. Но до половины четвертого Джинни будет занята.

– Жаль, – сказала Бекки. – В четыре я встречаюсь с Таннером.

– Ого! Да вы с ним неразлучны.

– Самой не верится, – проворковала Бекки.

– Тогда давай завтра? Я весь день свободна.

Бекки долго стояла под душем, потом колдовала у зеркала в ванной: макияж должен быть красивым, но неброским. Перри сердито постучал в запертую дверь, отпустил замечание, которое Бекки оставила без ответа, и ушел. Потом она оделась, тоже стараясь соблюсти равновесие меж элегантностью и “Перекрестками”. В ближайшие десять часов, если не больше, ей нужно выглядеть хорошо, особенно начиная с четырех часов дня. Когда Бекки наконец спустилась на кухню, мать уже натягивала страшное старое пальто.

– Я опаздываю на тренировку, – сказала мать. – Так ты вернешься к шести?

Бекки сунула в рот сахарное печенье.

– Я не пойду к Хефле.

– Боюсь, это не обсуждается.

– А я и не обсуждаю.

– Тогда поговори с отцом.

– Не о чем тут говорить.

Мать вздохнула.

– Милая, ничего страшного не случится, если молодой человек тебя подождет. Я понимаю, ты сейчас так не думаешь, но завтра тоже будет день.

– Спасибо, что просветила.

– То есть он тебя вчера все-таки нашел?

– Ты вроде опаздываешь на занятие.

Мать вздохнула еще тяжелее и направилась прочь. Бекки стало неловко, что она нагрубила матери. Бекки любит весь мир, но мама неправа. Завтра будет поздно, ей нужно срочно

действовать. Таннер сегодня выступает не один, а с Лорой Добрински. И до начала концерта Бекки намерена с ним встретиться.

Пора действовать. Пока он набирал на машинке последние предложения курсовой работы по истории Древнего Рима, на востоке под облаками, над маячившими вдаль за окном Клемовой комнаты полями поломанных кукурузных стеблей, раскрылась и затянулась тускло-красная рана. Стол его в тревожном свете, усыпанный сизым пеплом, щетинился огрызками красных ластиков. Гас, чистюля-сосед, уже уехал на каникулы в Молин, и Клем, пользуясь его отсутствием, всю ночь дымил как паровоз, подстегивая себя никотином и злостью на свои основные противоречившие друг другу источники, Тита Ливия и Полибия, злостью на то, что заветные часы сна сократились с шести до трех, а там и до нуля, но сильнее всего – злостью на самого себя за то, что провел понедельник в погоне за наслаждением в постели подружки, тешась надеждой успеть за два дня по двенадцать часов написать работу на пятнадцать страниц. Изведенное в понедельник наслаждение теперь не значило ничего. Саднило глаза и горло, желудок вот-вот начнет переваривать сам себя. Сляпанная им курсовая о Сципионе Африканском представляла собой слабо аргументированную путаницу повторений, за которые ему в лучшем случае поставят четверку с минусом. Ее нескладность окончательно подтвердила то, что он знал уже давно.

Не оставив себе времени на раздумья, даже не поднявшись, чтобы потянуться, он вкрутил в машинку чистый лист тонкой бумаги.

23 декабря 1971 года

Комиссия по учету военнообязанных

Почта США

Бервин, Иллинойс

Уважаемые господа!

Сообщаю, что с сегодняшнего дня я не числюсь студентом Иллинойсского университета, а следовательно, не имею права на полагающуюся студентам отсрочку от призыва, которую мне предоставили 10 марта 1971 года. И если меня призовут, я готов служить в Вооруженных силах США. Я родился 12 декабря 1951 года. Мой призывной номер 29 4 13 88 403. Пожалуйста, сообщите, когда мне надлежит (и надлежит ли) явиться для прохождения службы.

С уважением,

Клемент Р. Хильдебрандт

Хайленд-стрит, 215

Нью-Проспект, штат Иллинойс

Это письмо отличалось от курсовой ясностью и продуманностью. Но можно ли счесть действием то, что он его написал? Слова на бумаге почти так же эфемерны, как и в его голове. И пока их не получают и не ответят на них, они не имеют над ним власти. Тогда в какой же именно момент можно сказать, что он предпринял действие?

Он смотрел на потолок из облаков над полями кукурузы вдаль, на стелящийся по земле туман, который появляется зимой по вине индустриального сельского хозяйства, – смог от сырости и нитратов. Затем подписал письмо, написал на конверте адрес и наклеил марку – одну из тех, которые купил для писем родителям.

– Вот что делает ваш сын, – произнес он, – вот так и должно было быть.

От звуков голоса (пусть даже собственного) ему стало менее одиноко, и он направился в ванную. Ее негаснущий свет сейчас, когда все разъехались по домам, казался еще ярче. К краям раковины прилипла щетина кого-то из соседей по этажу; Клем ополоснул лицо. Хотел было принять душ, но центральная температура тела опустилась до минимума, и он подумал, что, если разденется, его станет бить дрожь.

Он вышел из ванной, и в коридоре зазвонил телефон. Клем вздрогнул от страха из-за его оглушительно-громкого звона – а еще потому, что знал: это звонит Шэрон, больше некому, она уже звонила в полночь, чтобы узнать, как идут дела, и подбодрить его. Если учесть Шэрон, написанное им письмо определенно считалось действием. Он стоял у дверей ванной, парализованный звонком, и ждал, пока тот стихнет. После бесцельно растроченного понедельника у него не осталось ни капли веры в собственную способность устоять перед наслаждением, которое он получал от Шэрон. Единственный безопасный выход сейчас – собрать вещи и первым же автобусом сорваться в Чикаго, а ее известить о принятом решении уже из Нью-Проспекта письмом.

К изумлению Клема, распахнулась дверь в конце коридора. Влетевший сосед в спортивных шортах ответил на звонок. Заметив Клема, махнул ему трубкой.

– Извини. – Клем поспешил к телефону. – Я не знал, что кто-то остался.

Сосед захлопнул за собой дверь.

– Ты закончил? – нетерпеливо спросила Шэрон.

– Ага. Десять минут назад.

– Ура! Наверняка тебе сейчас не помешает позавтракать.

– Мне сейчас не помешает поспать.

– Приходи ко мне завтракать. Я хочу за тобой поухаживать.

У Клема закружилась голова. От одного лишь голоса Шэрон кровь прилиwała к паху.

Перемена планов.

– Хорошо, – согласился он, – но мне нужно кое-что тебе сказать.

– Что?

– Вот приду, тогда и скажу.

Его комната, когда он вернулся туда, походила на угли, тлеющие под крышкой. Он открыл окно, надел бушлат, который выбрала для него Шэрон. Прилив крови, от которого набухали ткани, был явно связан с сексом, но, может, еще и с тем, что он должен ей сказать. В написанном им письме таилась агрессия, а агрессия, как известно, стимулирует эрекцию. Возможно, после этого письма его пошлют во Вьетнам, и хотя перспектива погибнуть ни капли не возбуждала, там, скорее всего, ему придется защищаться с помощью оружия. Разумом он понимал, что убийство – грех с точки зрения морали и вдобавок тяжелое испытание для психики, но подозревал, что его звериная суть считает иначе.

С курсовой и письмом в руке он вышел из здания по черной лестнице, на которой стоял неистребимый запах сырого бетона. Влажный утренний воздух сквозь пальто пронизывал до костей, но было приятно вырваться из прокуренного туннеля, в который секс и бессонные ночи превратили его существование с тех пор, как закончились занятия. В тишину опустевшего кампуса глухо врывалась мощь Иллинойса, грохот товарняка, рев фуры, как с юга везут уголь, с севера – автозапчасти, из центра страны – откормленный скот и обильный урожай кукурузы, все дороги ведут в плечистый город у озера. От осознания, что большой мир по-прежнему существует, ему стало легче, спокойнее.

На аллее у корпуса факультета иностранных языков, уже сунув курсовую под дверь кафедры античной истории, Клем наткнулся на почтовый ящик. Следующая выемка писем в одиннадцать утра, и сегодня не праздник. Клем стоял перед ящиком, размышляя об экзистенциальной свободе действовать или не действовать. Опустить письмо в ящик – сильный поступок. Быть может, он еще не раз проклянет себя за это (как бы паршиво ни было сейчас, в армии

наверняка хуже), но если действие морально оправданно, сильный человек немедленно обязан его предпринять. Если сейчас не отправить письмо, он придет к Шэрон с одним лишь намерением его отправить, а Клему уже случалось выбирать дорогу, вымощенную намерениями.

Он смежил глаза и заснул в то же мгновение, но, почувствовав, что падает, проснулся и удержал равновесие. В руке его было письмо в призывную комиссию. Горло почтового ящика с ржавым скрипом проглотило письмо. Клем развернулся и рысью припустил прочь, точно хотел убежать от того, что сделал.

На лекциях по философии, которые он слушал прошлой весной, на одном ряду с ним сидела кудрявая мышка, часто в складчатом бархатном берете на французский манер, и то и дело поглядывала на него. Как-то раз, когда бородатый преподаватель в бисерных фенечках распинался о “Тошноте” Сартра, расхваливая его мысль о том, что наши представления о бытии не имеют ничего общего с обнаженной сутью бытия, Клем поднял руку и высказал возражение. Действительность, заявил он, подчиняется законам, которые можно вывести и доказать методами науки. Преподаватель счел, что это лишь подтверждает его правоту: мы-де навязываем законы науки упрямо непознаваемой действительности. “А как же математика? – спросил Клем. – Один плюс один всегда два. Истинность этого уравнения – не наша выдумка. Мы лишь обнаружили истину, которая существовала всегда”. Среди нас затесался платоник, пошутил преподаватель, все присутствующие на лекции хиппи повернулись и уставились на зануду, осмелившегося ему возразить, а мышка пересела к Клему. После лекции она сделала комплимент его независимому мышлению. Она обожала Камю, а Сартру не могла простить то, что он коммунист.

Шэрон была отличницей, первой из семьи, кто поступил в университет. Она выросла на ферме в южной части штата, неподалеку от городка под названием Элтонвилл, и коммунистов там не любили. До конца семестра Шэрон и Клем сидели на лекции рядом, и когда она попросила его домашний адрес, он охотно ей сообщил. У него еще не было подруг, кроме Бекки. На каникулы он уехал в Нью-Проспект, устроился работать в садовый питомник, Шэрон прислала ему письмо – о том, как жарко и одиноко летом на их ферме. Ее мать умерла, когда Шэрон было двенадцать, брат Майк служит во Вьетнаме, отец с младшим братом трудятся на ферме, готовят и убирает домработница-хорватка. Отец никогда не заставлял Шэрон заниматься домашним хозяйством, и она нашла убежище в чтении – в детстве от скуки, в отрочестве от тоски. Шэрон мечтала стать писателем или, если не получится, уехать в Европу преподавать английский. Она поклялась, что больше никогда не приедет на лето в Элтонвилл.

Клем ей ответил и получил второе письмо, такое длинное, что Шэрон налепила на конверт три марки. Оно начиналось с вопросов, переливалось в поток сознания, почти без знаков препинания, лишенный заглавных букв, и заканчивалось отрывком из Камю, который Шэрон переписала по-французски. Клем хотел выкроить вечерок и ответить на письмо, да так и не собрался. Он тусовался со своим другом Лестером, смотрел телевизор с Бекки, которая теперь почти ни с кем не общалась. И лишь вернувшись в университет и увидев Шэрон – та в одиночку шла по главному двору, – Клем осознал неправоту своего бездействия. Она бросила на него обиженный взгляд, Клема это задело, ведь он не из тех, кто обижает, и он подошел к ней. В ответ на его извинения Шэрон лишь пожала плечами. “Похоже, я в тебе ошиблась”, – сказала она. Вызов ли, таившийся в этих словах, или то, что люди зовут “виной” и что по сути лишь эгоистичное желание, чтобы о тебе не думали плохо, но Клем растрогался и решил пригласить ее в пиццерию.

Поводом к ссоре послужила куртка цвета хаки, в которой он пришел в кафе. Шэрон не понравился пацифик из изоленты, который Клем налепил на спину куртки еще прошлой весной, перед антивоенной демонстрацией. Шэрон терпеть не могла университетских пацификов. Сказала, каждое утро просыпается в страхе, что брата убьют или ранят во Вьетнаме. Майк не любит читать, ему нравится охотиться и рыбачить, и стремится он только к одному

– продолжить на ферме дело отца, но он самый добрый и благородный человек из всех, кого она знает, а пацки таких презирают. Да кто они такие, чтобы плевать на ее брата? У них у всех отсрочка от армии, и пока они трахаются и курят траву, парни вроде ее брата гибнут на войне, а эти пацки даже не испытывают к ним благодарности. И вообще считают себя *выше* в нравственном отношении. Счастливые белые детки из пригородов щеголяют пацификами, пока другие за них воюют; Шэрон тошнит от этого.

Клем снисходительно выслушал ее тираду. Все-таки Шэрон девушка, да еще сентиментальная, и, похоже, не понимает всю абсурдную аморальность войны, а также то, что ее брат вправе был отказаться служить. Вот он бы, Клем, на месте ее брата непременно отказался. Но Шэрон стояла на своем. Ее брат любит родину, он настоящий мужчина, и когда долг позвал его, он откликнулся. И как же все те парни, с которыми служит ее брат – ребята из черных трущоб и индейских резерваций? Они понятия не имели, что можно отказаться служить. А такие, как Клем, хотят быть и целенькими, и правыми.

– Какой у тебя номер в лотерее¹⁵? – спросила она.

– Ужасный. Девятнадцать.

– Значит, кто-то сейчас торчит в джунглях, потому что родители отправили тебя учиться.

– Да я бы все равно не пошел воевать.

– Это *одно и то же*. Кто-то сейчас там вместо тебя. Кто-то вроде Майка. А ты тут расписываешься об “абсурдной аморальности” войны. А отправлять бедных, необразованных и черных вместо себя на войну – это не абсурдная аморальность? Тебе не кажется, что это тоже абсурд? Так почему ты не протестуешь против *него*!

– Это же и так подразумевается, разве нет?

– Нет. Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил об этом. Я слышу лишь презрительные замечания о тех, кто служит.

Она была такая маленькая, вдобавок девушка, но мыслила оригинально. В весеннюю поездку с церковной группой в Аризону Клем работал у индейца навахо Кита Дьюроки, чей сын погиб во Вьетнаме. Клему было семнадцать, он не знал, как общаться с убитым горем отцом, и посочувствовал ему: до чего же несправедливо погибнуть на такой войне, – а Дьюроки неожиданно нахмурился и замолчал. Клем ляпнул что-то не то, но что именно, не понимал. И вот теперь, слушая Шэрон, он осознал, что тогда высказал Дьюроки не соболезнование, а принизил гибель его сына. Какой же он был идиот.

– Мне правда очень жаль, что я не ответил на твое письмо, – признался Клем.

Шэрон устремила на него взгляд темных глаз.

– Проводишь меня домой?

С того первого вечера он с сердечным трепетом чувствовал, что придется действовать, что он мельком увидел истину, развидеть которую уже не удастся. Может, все и обошлось бы, выпави Клему в лотерее номер повыше в списке, но шарик выкатился по непредсказуемой (“случайной”) траектории, номер совпадал с днем его рождения, и Клем всем сердцем жалел необразованного парнишку, который отправился во Вьетнам, хотя его место по справедливости должен был бы занять Клем. Он не хотел, подобно отцу, лишь на словах сочувствовать обездоленным. Отказ от студенческой отсрочки – чересчур щедрая плата за то, чтобы считаться последовательнее отца, но к тому времени, когда они с Шэрон подошли к ее дому в одном из захудалых переулков Эрбаны, нравственное чутье подсказывало Клему заплатить эту цену.

На крыльце она повернулась и поцеловала его. Он стоял на ступеньку ниже, дабы уравновесить довольно существенную разницу в росте. Поцелуй стал началом длительной отсрочки от исполнения приговора, который он вынес самому себе. Когда Клем наконец оторвался от нее – с обещанием назавтра позвонить, – сладость ее рта, уютный запах ее кожи, то, как она

¹⁵ Речь о выборочном призыве на военную службу. Лотерея проводилась дважды – в 1969 и в 1970 гг.

приоткрыла его губы своим дерзким язычком и большая неожиданность происходящего прогнали мысль о Вьетнаме.

В ее доме – развалюхе, обшитой досками – на первом этаже располагалась велосипедная лавка, которую держали хиппи, на втором – общие комнаты хиппи, на третьем – спальни хиппи, а Шэрон, на дух не переносившая хиппи, занимала единственную жилую комнату на четвертом этаже. Шэрон казалась миру крохотным безобидным существом, но всегда умела добиться своего. Годом ранее за нарушение правил *ее* вытурили из студенческого женского общества, и хиппи отдали ей лучшую комнату в доме. В этой комнате, помимо прочего, никто не мешал заниматься сексом. Клем лишь впоследствии осознал мудрость университетских запретов, которые, если не брать в расчет устаревшие нормы поведения, удерживали студентов от западни наслаждений, мешавших учебе, но во второй раз он поднялся к ней в комнату в полной невинности. Несколько часов они, не раздеваясь, целовались на кровати, потом Шэрон пошла в ванную и вернулась в халате на голое тело. Стало ясно, что обжиматься ей надоело, вдобавок саднили губы и нос. Шэрон толкнула Клема на спину и расстегнула его ремень. “Подожди, а как же...” – начал Клем. Но Шэрон ответила: все в порядке, она пьет противозачаточные. Девственность она потеряла в семнадцать лет в Лионе, куда приехала учиться по обмену. В семье, где она жила, был старший сын-студент, он учился в университете, но жил дома и два с половиной месяца был ее любовником, пока не узнали родители. Разразился жуткий скандал, и Шэрон отправили домой, в Элтонвилл. Получилось ужасно неловко, сказала она, но оно того стоило. Они с тем парнем переписывались еще год, потом он нашел другую, у нее тоже были похождения, о которых она не стала распространяться. Клем, лежащий навзничь с расстегнутым ремнем, был не прочь сбавить скорость, продлить разговор, который считал обязательным, но Шэрон разделась и легла на него. “Это просто, – сказала она. – Я тебе покажу”. И тотчас же он обнаружил, что глазеет на абсолютно нагую девицу, которую, как он предполагал, придется раздевать постепенно, вещь за вещью, то и дело спрашивая разрешения, в течение недель, если не месяцев. Увидев ее целиком обнаженной, он испытал такую зрительную перегрузку, что поневоле зажмурился. Она двигалась вверх-вниз по его эрекции, пока ткань вселенной с треском не порвалась. Шэрон упала на него, поцеловала, губы у нее и правда растрескались. Клем спросил, понравилось ли ей то, что сейчас было. Да, очень, ответила она. Но он не унимался: ты ведь не...? Не всё сразу, ответила Шэрон, я тебе покажу.

Для двадцатилетней девушки с фермы в Южном Иллинойсе Шэрон знала о сексе многое. Чему-то научилась во Франции, остальное почерпнула из книг. Больше всего Клема потрясло, что Шэрон очень-очень нравилось, когда ей лизут вульву. Он об этом даже не мечтал, и латинское название этого самого, вычитанное в словаре, оставалось для него лишь словом. Если бы к нему приступили с расспросами, он предположил бы, что эта метода для искушенных любовников, нечто вроде тяжелого наркотика, и прежде чем к ней переходить, нужно освоить обычный коитус. Он, уж конечно, даже не думал заниматься этим с девушкой, которая до сих пор путает имена его братьев. И тем более не догадывался, что получит от этого удовольствие. Лучше, чем вид, запах и вкус ее вульвы, был только миг, когда он вставлял в нее пенис; в этом и заключалась проблема.

Теперь-то он понимал, что его мнимая самодисциплина и исключительная усидчивость, которую так хвалили родители и учителя, была вовсе не дисциплиной. Он был отличником, потому что ему *нравилось* учиться, а вовсе не благодаря выдающейся силе воли. И как только Шэрон познакомила его с наслаждениями поострее, обнаружилось, до какой степени неразвиты мускулы его воли. К своему удивлению, он без веской причины пропустил лабораторную по органической химии, чтобы прогуляться с Шэрон, даже не заняться с ней сексом, а просто побыть с ней рядом. Первая в его жизни фелляция случилась в то утро, когда ему следовало присутствовать на занятиях по истории Древнего Рима. Он не подготовился к промежуточному экзамену по клеточной биологии, поскольку засовывать пенис в вульву Шэрон было куда

приятнее, чем учиться. Ничего хорошего о его самоконтроле это не говорило. Но хуже всего, что это сводило на нет самый веский моральный довод в пользу отсрочки – что он принесет больше пользы человечеству, если будет прилежно заниматься и станет выдающимся ученым, чем если пойдет служить морским пехотинцем во Вьетнам. Если средний балл его успеваемости окажется ниже трех с половиной, он не имеет права на отсрочку.

Шэрон, в свою очередь, была на диво безмятежна. Призыву она не подлежала, курсы выбирала только те, за которые человек с литературными способностями автоматически получит “отлично”. Чтобы в общих чертах набросать план сочинения, ей достаточно было обсудить его с Клемом, тогда как ему требовалось в одиночку зубрить органические радикалы. Она была настоящий лидер, привычный к одиночеству, и предпочитала не иметь друзей вовсе, чем дружить с теми, кто менее талантлив. У Клема в ИУ тоже не было близких друзей, но один из тех студентов, с кем они вместе ходили на химию, Гас, предложил Клему поселиться в одной комнате, явно рассчитывая, что это упрочит их дружбу, а теперь Гас почти не разговаривает с ним, обиделся, что Клем все время проводит с Шэрон. Она не менее Клема жаждала удовольствий, вот только ей они не портили жизнь так, как ему. Она никогда никуда не спешила, и он наслаждался тем, как невозмутимое безразличие Шэрон к тому, который сейчас час, влияет на его чувство времени не меньше, чем наслаждался ее телом. Пока он, свернувшись калачиком, лежал в ее упорядоченной жизни, точно в своей собственной, и не выходил из ее комнаты, его ничто не беспокоило. Но стоило ему выйти из ее комнаты, как его охватывала тревога, и унять ее можно было, только вернувшись.

Еще одна причина, по которой он предпочитал проводить время в ее комнате, заключалась в том, что на людях ему с ней было неловко, хотя, спроси его Шэрон об этом, он принялся бы пылко отпираться. Загвоздка как таковая была не в том, какой она человек. Он гордился ее умом, гордился ее красивым лицом и еще более красивой фигурой, гордился ее откровенно непринужденными манерами. Загвоздка была в том, какая она по сравнению с *ним* — а именно на четырнадцать дюймов ниже. Она никогда, ни разу не упомянула об их разнице в росте, и он злился на себя за то, что вообще об этом думает. Несправедливо, что мир судит о людях по внешности, которая от них не зависит и не имеет никакого отношения ни к уму, ни к душевным качествам. Чисто теоретически он даже рад, что настолько выше ростом, ведь это говорит о нем как о человеке, для которого главное – равенство и соединенье двух сердец¹⁶, и никакая внешность этому не помеха. Да и практически, когда они лежали в постели, его только больше возбуждала почти беззаконная миниатюрность ее обнаженного тела. На людях же, как ни старался, Клем невольно чувствовал, что все на них смотрят и судят его.

Когда он приехал в Нью-Проспект на День благодарения и увидел Бекки, совсем взрослую женщину, смущение его лишь усилилось. Казалось, Бекки и ее красавицы-подруги, та же Джинни Кросс, принадлежат к другому биологическому виду, вдобавок Бекки отпустила неожиданно едкое замечание о разнице в росте меж Таннером Эвансом и Лорой Добрински. И хотя Клему давно хотелось рассказать сестре о том, что у него появилась девушка, он сразу понял, что Бекки дела нет до Шэрон, она не желает с ней знакомиться, не желает о ней слышать и вряд ли ее одобрит. Он принялся взахлеб расписывать красоту души Шэрон, ее невероятное очарование и всю глубину чувственных наслаждений, в которые погрузился, но собственные слова показались ему абстрактными и пустыми. И вообще разговор получился очень неловкий. После него Клем устыдился своей сексуальности, причем стыд этот распространялся на Шэрон, и он еще мучительнее осознал их несовпадение в размерах. Отношения, которым, как прежде казалось, не будет конца, теперь представлялись ему временными, словно Шэрон всего-навсего его “первая девушка”, с которой он лишился невинности, милая, но неподходящая по размеру. Намеренно или нет, но Бекки заставила его задуматься о чувствах к Шэрон,

¹⁶ Цитата из сонета 116 У. Шекспира (пер. С. Маршака).

и он осознал, что они отсутствуют. Не настолько они окрепли, чтобы он заявил сестре: “Плеть мне на твои поверхностные суждения, я люблю ее”, и не настолько сильны (недостаточно убедительно предполагали совместное будущее), чтобы послужить аргументом против отказа от отсрочки. Скорее они передышка, уклонение от морального долга.

В университет он вернулся с четким планом действий. Отныне он будет проводить с Шэрон только два вечера в неделю и перестанет ночевать у нее, а заниматься будет каждый день по десять часов и постарается сдать все экзамены и курсовые работы на отлично. Если получит сплошь отличные отметки, тогда средний балл окажется выше трех с половиной – цифра, которая, хоть в целом и произвольная, служила ему последним благовидным предложением не делать то, что в противном случае сделать придется.

План был разумен, но, как выяснилось, неосуществим. Дома Шэрон встретила его так, словно они не виделись пять месяцев, а не пять дней. Ему столько всего нужно было ей рассказать, но едва он стащил с нее вельветовые брюки, как все переживания из-за их разницы в росте показались ему глупыми и дрянными. И лишь на следующий день, вернувшись к себе в комнату, он расстроился из-за недостатка силы воли. Он пересмотрел план, назначил себе заниматься по одиннадцать часов в день и следовал этому графику до пятницы, когда побаловал себя очередным вечером с Шэрон. Он ушел от нее днем в воскресенье, и к этому времени ему требовалось заниматься уже по пятнадцать часов в день, чтобы добиться поставленной цели. Он убедил себя, что, подобно экзистенциалистам, наслаждается моментом и их близостью, пока она длится, однако чуял, что дело нечисто. Точно зреет какая-то каверза – словно, поддавшись свойственному Шэрон растяжимому чувству времени, из-за чего отметки неминуемо снизятся, следовательно, у него не останется иного выбора, кроме как бросить университет, он тайно готовится ее наказать. Она понятия не имеет, что значит для него цифра “три с половиной”, но быстро смекнет – и раскается, что не уговаривала его заниматься.

Грядущее наказание казалось тем более жестоко, что Шэрон выражала любовь к нему старомодно, романтично, во всем. Несмотря на образ девушки свободных взглядов, искательницы сексуальных приключений, читающей Колетт, несмотря на то что Шэрон была слишком опытна, чтобы сюсюкать, она, кажется, строила на него далеко идущие планы. Едва он рассказал ей о разговоре с сестрой в День благодарения и о завещании тети, как Шэрон загорелось поехать с ним в Европу. Она с уважением отнеслась к решению отказаться от денег, которые предложила ему Бекки, но почему бы не согласиться на бесплатные каникулы? Разве не замечательно вдвоем поехать во Францию? Они посетят те же места, что его мать и сестра, но при этом будут сами по себе! Всякий раз, как она возвращалась к этой идее, чтобы добавить или вычесть очередной пункт из несуществующего маршрута, Клем лишь улыбался и закрывал глаза. В глубине души он уже знал, что напишет в призывную комиссию. Основная причина заключалась в том, что так будет правильно с точки зрения морали. Были у него и другие важные причины, касавшиеся отца и Шэрон, которой он хотел доказать, что воспринимает ее взгляды всерьез, и которая, надеялся он, восхитится правильностью его поступка, так что он выиграет в сравнении с ее братом Майком. И все же, как ни смешно, уже понимая в оставшиеся дни семестра, что окажется неуспевающим, Клем ловил себя на том, что самая веская причина отказа от отсрочки – *нежелание ехать во Францию со своей девушкой и с сестрой*.

Когда он подошел к ее дому, утреннее небо не прояснело, а нахмурилось. У Клема был ключ, которым он никогда не пользовался, потому что заднюю дверь хиппи упорно не запирали, даже несмотря на то, что недавно у них украли велосипед. Он вошел в сумрачную кухню, поспешно миновал тарелки с засохшим расплавленным сыром, громоздившиеся в раковине и вокруг раковины, – эти тарелки существовали в чем-то вроде хипповского устойчивого равновесия, в котором новая грязная посуда прибавлялась теми же темпами, какими убавлялась старая, кем-то вымытая. Большинство хиппи были так безмятежно поглощены собой, что едва ли знали, как его зовут, однако, когда он проходил мимо, улыбались ему как знакомому, и

сейчас он обрадовался, что по пути наверх не встретил никого. Он догадывался, что в этом доме сумма его личности равняется чуваку, который трахает ту цыпочку с четвертого этажа (что было неприятно близко к справедливой оценке).

Шэрон во фланельной пижаме что-то химичила за высоким фанерным столом в импровизированной кухоньке в коридоре. Клем наклонился, поцеловал ее в кудрявую макушку, обнял ее сзади. Мысли путались, и ему казалось, будто он уже почти солдат и пришел проделывать с ней то, что солдаты делают с женщинами, но Шэрон шаловливо вывернулась из объятий.

– Я готовлю гренки с сахаром и корицей.

– Вряд ли в меня сейчас что-то влезет.

– Когда ты ел последний раз?

– Вчера, а когда точно, не помню. Я съел саб-сэндвич с салатом из тунца.

– Тебе не помешает подкрепиться. Но сначала... – Она наклонилась, чтобы открыть холодильник. – Я купила шампанское.

– Шампанское?

– Чтобы отпраздновать. – Она протянула ему холодную бутылку. – Ты мне не верил, но я знала, что у тебя получится.

Пятнадцать машинописных страниц объективно средней работы за шестьдесят часов не казались Клему таким уж подвигом.

– Шампанское в Шампейне, – сказал он.

– Точно.

Пить спиртное в его состоянии в девять утра неразумно, но у Шэрон были четкие представления о том, как должно быть, и он не хотел ее расстраивать. Он снял с бутылки фольгу, хлопнул пробкой.

– За нас! – Шэрон наполнила стаканы. – За Сципиона Африканского!

– Даже не упоминай при мне это имя. Я всю ночь печатал “Спицион” и каждый раз вынужден был стирать.

– Тогда просто за нас.

Она привстала на цыпочки, он наклонился и поцеловал ее. Почувствовал волнуемый, похожий на запах кошачьего корма, почти выветрившийся душок спермы, которую несколько раз впрыснул в нее в понедельник. Шэрон взяла бутылку, стакан, пошла в спальню, он следом, как собака. Она села на кровать, подложив под спину подушку, он щупал ее голые ступни, массировал их большими пальцами. После шампанского она казалась прелестной. Вино не облегчило ему задачу объявить ей о своем решении, но побуждало подсчитать, когда лучше уйти, чтобы перехватить почтальона у ящика и забрать письмо. Клем залпом осушил стакан – якобы потому, что клетки мозга нуждались в легко усваиваемой глюкозе, чтобы восстановить работоспособность.

Шэрон тут же наполнила его стакан.

– Ты вроде хотел мне что-то сказать.

Он упал на кровать, уставился в скошенный потолок, расплывавшийся перед глазами. Свет, пробивавшийся сквозь слуховое окно, словно бы не имел отношения к какому-то определенному часу, поскольку был тусклым и вдобавок у Клема сбились биологические часы: казалось, сегодня – это вчера, и вслед за вечером без вмешательства ночи сразу настало утро.

– Я тоже хочу тебе кое-что сказать, – продолжала Шэрон.

Ему вдруг пришло в голову, что он ни разу не целовал ее стопы. Они были крошечные, с высоким подъемом, мягкими прохладными подошвами, бальзам для его горячих щек. Она рассмеялась, убрала ноги.

– Извини, – сказала она, – щекотно.

Сравнивать ему было не с кем, но, возможно, стоило пожалеть, что не все девушки (наверное, лишь очень немногие) так же кротко и прямо, как Шэрон, говорят о том, что им

нравится, а что нет. Возможно, стоило пожалеть, что немногие девушки были бы так же великодушны, так прощали бы его промахи, с таким терпением относились бы к его постоянной жажде соития, так сами хотели бы этого, так редко плакали бы и надували губы, так же не требовали бы от него постоянного внимания и выражения чувств, как Шэрон. Да, явно стоило пожалеть, что три последние месяца он провел как в Эдеме, земном раю, в котором ему, дураку, посчастливилось очутиться и который хватило ума уничтожить. Клем вспомнил, как ноябрьским утром увидел, что Шэрон ковыляет в ванную, точно старуха, и понял, какую боль причинил ей, преследуя последний ничтожный оргазм. Вспомнил, как она проковыляла обратно к кровати, как он нещадно ругал себя, как умолял о прощении, а она лишь рассмеялась: *cest Gamou*. Он жил в раю наоборот, где Ева съела яблоко и поделилась с ним восхитительным знанием. Зачем, ну зачем Клему понадобилось уничтожить этот рай?

Он подсчитал, что, даже если уйдет от нее без четверти одиннадцать, все равно окажется возле почтового ящика раньше, чем почтальон. А значит, можно провести с ней все утро и написать второе письмо о том, что передумал и намерен сохранить отсрочку.

– Спишь? – спросила она.

– Вовсе нет.

– Давай я сделаю тебе гренки.

– Не надо. Шампанское как глюкозная бомба.

Он положил ладонь меж ее ног, чувствуя под фланелью пружинки кудряшек. Снял с нее штаны, приблизился, чтобы лучше видеть. Каким же красивым было то, что открылось его взгляду! Каким бесконечно манким! Правда, решился он так же прямо заявить о своих желаниях, как она, то попросил бы ее не снимать пижамную куртку. Он ничего не имел против ее груди, но так рано получил доступ к ней, что не успел плениться ею как драгоценностью, которую мечтал бы обнажить, и с тех пор она представлялась ему несколько неуместной. Ему больше нравилось, когда на ней лифчик. Лучше всего было бы, если бы Шэрон осталась в куртке и без штанов, точно самка университетского фавна, выше пояса студентка-отличница, ниже – существо из самых влажных его снов. Но он так и не придумал, как высказать это желание, не обидев Шэрон, а она предпочитала абсолютную наготу.

Она сбросила пижамную куртку, потянула за плечи его рубашки. Ей нравилось, когда он тоже голый – ей казалось дурным тоном, даже если он оставался в одних носках, – но сегодня утром раздеваться ему не хотелось. Он почувствовал вкус агрессии и намерен был добиться своего, даже если не сумеет рассказать ей о своих желаниях. Он представлял себя солдатом, который трахается в сапогах, под защитой своей формы. Шэрон снова потянула его за рубашку, но он отодвинулся.

– Тебе холодно?

– Нет.

И он принялся за единственное занятие, к которому в последнее время испытывал склонность. Под горизонтом ее грудной клетки, сбегая в низину ее пупка, выше рожи тугих кудряшек, таких близких, что расплывались перед глазами, раскинулись подвижные белые равнины ее живота. Ее руки, вытянутые по бокам, сжимали кровать, когда Шэрон регулировала соприкосновение с его языком. Клем дивился обнаруженным в собственном теле запасам сил – лишнее доказательство, что репродуктивная функция первична для организма. Как ни подстегивал он сигаретами клетки мозга, на последних страницах работы о Сципионе Африканском они едва шевелились от усталости, однако ж неутомимые мышцы шеи и языка служили исправно за награду, обещанную даже не им, а пенису. Шея передумала болеть, виски – гудеть от шампанского, глаза – чесаться, до тех пор пока он, повинувшись глубинному животному позыву, не выпустит кипящее безумие.

Шэрон пронзительно вскрикнула. На миг показалось, будто ее тело, гальванизирующее само себя, расчленилось на части. Он засунул язык так глубоко в нее, как только мог, чтобы

попробовать на вкус то, что не пробовал пенис, потом поднял голову, посмотрел ей в глаза. Они были темно-коричневые, как бусины, улыбка кривая, точно он сломал ее. Он подложил подушку под задницу Шэрон, ей так нравилось, и приспустил штаны. Не чудо ли, что ее крошечное тело вмещает его целиком? Он навалился на нее всей тяжестью и замер, стараясь запечатлеть в памяти всю глубину проникновения. Сколько же месяцев или лет пройдет, прежде чем он снова почувствует это?

– Все в порядке? – спросила она.

– Да. Маленькая передышка.

– Знаешь, что я представляла? Будто мы с тобой в Париже. Попали в грозу, вымокли до нитки и вернулись в отель. Я представляла, как кончаю с тобой, пока дождь без конца заливает бульвары.

От слова “кончаю” этот образ – они вдвоем в Париже – не стал менее отвратительным. Вот они вчетвером стоят в очереди в Лувр. Высокая, опрятная Бекки лучится добродушием, мать изучает путеводитель, отпуская язвительные замечания – противно даже представить на этой картине Шэрон. Противно даже представить себя самого, обреченного каждое утро лежать во французской кровати, на которой кто только не трахался, жаркой, красной, лишающей сна, постельное белье в засохшей сперме, представить себя, обреченного жалеть, что он сейчас не с Бекки, где бы она ни была, может, внизу, в столовой со свежими салфетками и багетами, сестра с матерью ведут оживленную беседу, в которой он тоже хотел бы участвовать. Он никогда не жалел о времени, проведенном с Бекки, потому что от сестры ему и не хотелось ничего другого, кроме общения. Он представил, как они с Шэрон входят в столовую парижского отеля, воняя сигаретами, выкуренными после секса, глаза красные, веки набрякли, и сияющий образ Бекки потускнел, исчез, точно ангельский лик. Он теряет ее даже в реальном мире – теряет с тех самых пор, как сентябрьским вечером Шэрон скинула купальный халат. Чем больше места на картине занимала Шэрон, тем меньше оставалось Бекки. Пенис его сжимался.

– Ты, наверное, очень устал, милый, – сказала Шэрон.

Он охотно кивнул: пусть думает именно так.

– Я вот что придумала, – продолжала она. – Давай вернемся сюда сразу после Рождества. Хочешь? Днем будем читать, готовиться к занятиям, а вечера проводить вместе. Я не хочу, чтобы ты считал, будто из-за меня отстаешь в учебе.

Он израсходовал всю глюкозу. Решимость его иссякла.

– Но я не об этом хотела тебе сказать. – Она подвинулась так, чтобы видеть его глаза. – Можно я скажу тебе что-то важное? Я давно хочу это сказать.

Он ждал, охваченный смутным страхом.

– Я в тебя влюблена, – произнесла Шэрон. – Можно ли мне признаться в этом?

Именно этого он и боялся.

– Ах, милый, я так сильно в тебя влюблена.

Именно этого он и боялся, однако же встретил ее признание иначе, чем ожидал. Его затопило мужское самоупоение. Осознание того, что эта девушка полностью в его власти, трепет этой победы и что-то более дикое, неожиданно усилившаяся способность причинить ей боль – все это пронзило его, точно стремительный выплеск тестостерона. Его вновь охватила решимость, и он, не раздумывая, откликнулся тычком. Удивительно, как меняются ощущения, когдаходишь в женщину, которую влюбил в себя, как остро теперь чувствуют ее тело нервные окончания его гениталий. Словно до этого мига он ни разу не занимался сексом. Он вновь ткнулся в нее. Нестерпимое наслаждение.

– Что скажешь? – спросила она.

– Скажу, что ты чудо, – ответил он, не прекращая движений.

– Ладно. – Она легонько кивнула, точно самой себе.

Он остановился, наклонился к ней, поцеловал в губы, которые произнесли волшебные слова. Шэрон отвернулась.

– Почему ты не разделся?

– Не знаю. Мне показалось, так интереснее.

Снова неясный кивок.

– Шэрон! – взмолился он.

Клем понимал, что разговора не избежать и он будет нелегкий, но *решиительно предпочел бы* отложить его на потом. Чтобы выразить это свое предпочтение, он закрыл глаза и качнул бедрами. Удовольствие не ослабло, но тут Шэрон вновь заговорила:

– Я хочу, чтобы ты тоже сказал, что влюблен в меня.

Он открыл глаза. А ведь еще в сентябре, когда игла его разума застряла на дорожке с мелодией Шэрон, его подмывало сказать, что он влюбился в нее. Но он удержался, поскольку во всем следовал ее примеру и понимал, что романтические признания – не комильфо. Правда, после кризиса, приключившегося с ним в День благодарения, он обрадовался, что промолчал. Теперь же собственными нервами прочувствовал, как изменятся ощущения Шэрон, если она услышит от него эти волшебные слова. Они настолько все меняют, что он мог бы произнести их вполне искренне.

– И неважно, если на самом деле ты так не чувствуешь, – настаивала Шэрон. – Мне просто любопытно, каково это, услышать их.

Он кивнул и произнес:

– Я не влюблен в тебя.

Он не сразу осознал, что сорвалось с его губ. Он собирался сказать совершенно другое. Он ужаснулся.

– Нет, ты скажи, что влюблен, – попросила Шэрон.

– Я пытался. Не получилось.

– Мягко говоря!

Он вытянул руки, опустил глаза, посмотрел на поросшие волосом их с Шэрон точки соприкосновения и покачал головой вопреки таившейся в душе горькой правде.

– Я... я сам не знаю, что чувствую. Я не могу этого сказать.

Шэрон поморщилась, точно правда ее обожгла.

– Прости, – произнес он.

– Ничего страшного. – Она криво улыбнулась. – Я хотя бы попыталась.

– Господи, Шэрон, прости меня.

– Ничего страшного. Заканчивай, что начал.

Она была великодушна до последнего, но даже в своем распаленном состоянии он понимал, что наслаждаться ею и дальше неправильно. Он вышел из нее.

– Давай, чего ты! – Она попыталась вправить его обратно. – Забудь, что я сказала.

– Не могу.

Она плакала.

– Ну пожалуйста, давай. Я так хочу.

Но он не мог. Вспомнил, как перед его отъездом в университет мать провела с ним беседу (или подобие беседы) о сексе. Что бы ни говорили в кампусе, сказала она, секс без обязательств – пустое и губительное занятие. Это древняя мудрость. И он, как и в случае с университетскими правилами, слишком поздно осознал, что старики не так уж глупы. Доказательство – лежащая под ним девушка в слезах.

Он встал с кровати, и эрекция показалась ему непристойной. Шэрон лежала и плакала, он натянул джинсы, надел бушлат. Из комнаты хиппи этажом ниже донеслась знакомая басовая партия с того самого альбома *Who*, который они слушали неделями. Он тряхнул пачку сигарет, вставил одну в рот, чиркнул спичкой. В сентябре он попробовал “Парламент” Шэрон, и ему

понравилось. А когда осознал, что сигареты, как и секс, еще не делают его взрослым мужчиной, уже насмерть пристрастился к курению.

– Давай я сделаю тебе гренки, – предложил он.

Шэрон ничего не ответила. Укрылась одеялом, отвернулась к стене, и лишь легкая дрожь кудрей выдавала ее слезы. Кроватью ей служил двойной матрас на пружинной сетке, письменным столом – полая дверь на козлах, книжными полками – сосновые доски на подпорках из шлакобетона. Он вспомнил, как впервые увидел ее библиотеку, огромное количество французских книг в мягких обложках, вспомнил строгую белизну и единообразие их корешков. Тогда, три месяца назад, ему казалось, что самое сексуальное в женщине – высокий интеллект. И даже теперь, если бы они с Шэрон состояли только из разума и гениталий, и больше ни из чего, он поверил бы, что у них есть будущее.

Не уйти ли прямо сейчас, подумал он: что это будет, милосердие или трусость? Прежде он планировал сообщить ей, что они расстанутся, письмом, чтобы обратиться к ней как разум к разуму, рационально, вдали от манящей западни. Но вот он обидел ее, и она плачет. Может, ситуация говорит сама за себя? И любые объяснения лишь обидят ее еще больше? Он присел на край кровати, втянул дым изнуренными легкими и задумался, как быть дальше. Вот опять экзистенциальная свобода: поговорить или не поговорить. Этажом ниже по-прежнему грохотала *Who*.

– Я не вернусь на следующий семестр, – услышал он собственные слова. – Я решил бросить университет.

Шэрон тут же повернулась и уставилась на него, щеки у нее были мокрые.

– Я отказался от отсрочки, – продолжал он. – Поеду куда пошлют, может, и во Вьетнам.

– Это же глупо!

– Правда? Это ведь ты говорила, что так и надо.

– Нет-нет-нет. – Она села, прижала к груди одеяло. – Хватит с меня и того, что Майк там. Ты не имеешь права так со мной поступать.

– А я и не с тобой так поступаю. Я так поступаю, потому что это правильно. Мой номер девятнадцатый. Сама говорила, я давно должен быть там.

– Клем, боже, нет! Это глупо!

В детстве, когда его гениальный брат был достаточно большим, чтобы играть с ним в шахматы, но слишком маленьким, чтобы выиграть, Клем всегда, прежде чем поставить мат, спрашивал Перри, уверен ли он в своем последнем ходе. Он считал этот вопрос милосердием старшего, но однажды Перри в ответ залился слезами (ребенком Перри вечно рыдал, не из-за одного, так из-за другого) и сказал Клему: *хватит напоминать мне об ошибке*. Непонятно, с чего он взял, что Шэрон ответит как-то иначе.

– Меня не убьют, – сказал он, – мы уже не ведем во Вьетнаме наземных боев.

– Когда ты это задумал? Почему не сказал мне?

– Вот, говорю.

– Это потому что я сказала, что влюблена в тебя?

– Нет.

– Зря я тебе сказала. Я ведь даже не знаю, правда ли это. Просто есть такие слова, они существуют, и начинаешь думать: а что если я тоже их скажу? Слова обладают собственной силой – стоит их произнести, как они рожают чувство. Прости, что заставляла тебя их произнести. Мне нравится, что ты честен со мной. Мне нравится... ох, черт. – Она бросилась на кровать и снова расплакалась. – Я правда влюблена в тебя.

Он в последний раз затянулся сигаретой и аккуратно затушил ее в пепельнице.

– Твои слова тут ни при чем. Я уже отправил письмо.

Она недоуменно уставилась на него.

– Я бросил его в ящик по пути сюда.

– Нет! Нет!

Она заколотила по нему кулачками – не больно. Исходящий от нее запах секса и агрессия сказанных им слов вновь распалили желание. Он вспомнил, как слонялся по этой комнате, насадив на себя Шэрон: благодаря ее миниатюрности можно было практиковать подобные удовольствия. Испугавшись попасть в западню, из которой только-только выбрался, он схватил Шэрон за запястья и заставил посмотреть на него.

– Ты замечательный человек, – сказал он. – Ты изменила всю мою жизнь.

– Ты со мной прощаешься! – прорыдала она. – А я не хочу прощаться!

– Я тебе напишу. И все расскажу.

– Нет, нет, нет.

– Неужели ты не понимаешь, что это другое? Я уважаю тебя как личность, но я не влюблен в тебя.

– Лучше бы мы с тобой никогда не встречались!

Она упала в изножье кровати. Охватившая его жалость была бесконечно реальнее порыва уйти в солдаты. Он жалел Шэрон за то, что она такая маленькая и так его любит, и за то, что по его милости она очутилась в логическом тупике, и за то, что по иронии судьбы благодаря ей Клем стал человеком, который ее бросит, ведь именно она познакомила его с новыми экзистенциальными формами познания. Ему хотелось остаться и все объяснить, поговорить о Камю, напомнить ей о необходимости морального выбора, растолковать, сколь многим он ей обязан. Но он не доверял своей животной сути.

Он наклонился к Шэрон, зарылся лицом в ее волосы.

– Я правда тебя люблю, – сказал он.

– Любил бы, не уходил бы, – зло и звонко ответила Шэрон.

Он прикрыл глаза и моментально задремал. Клем разлепил веки.

– Ладно, пойду к себе, собираться.

– Ты разбиваешь мне сердце. Надеюсь, ты это понимаешь.

Единственный выход из западни – проявить силу воли, встать и уйти. Он открыл дверь, услышал, как Шэрон крикнула: “Подожди!” – и этот крик почти разбил ему сердце. Он закрыл за собой дверь, и грудь сдавил спазм, в котором он с удивлением опознал рыдания. Они вырвались совершенно независимо от него, неудержимые, точно рвота, но менее привычные – он не плакал с того самого дня, когда убили Мартина Лютера Кинга. В соленой пелене он сбежал по лестнице, покрытой отсыревшим ковром, мимо гулкового буханья *Who*, в котором сейчас отчетливо слышались высокие частоты, сквозь едкий запах утренней травы в общих комнатах, и очутился в холодном сером переулке Эрбаны.

Через пять часов на автобусной станции (уже повалил снег) он сдал сумку и гигантский чемодан, который волок по кампусу, представляя, что это тренировка перед лагерем новобранцев, и занял одно из последних мест в автобусе до Чикаго. Место было возле прохода, в глубине половины для курящих, на сиденье сразу за Клемом надрывался ребенок. Клем так сильно скукал по Шэрон, так неотвязно мучила его последняя утраченная надежда на новую встречу, так упорно подступали слезы, точно он и впрямь был в нее влюблен. И хотя в автобусе и так уже было накурено нестерпимо, он все же достал из кармана сигареты, щелкнул крышкой пепельницы в подлокотнике и попытался обуздать чувства с помощью никотина. Он разделался с чудовищной задачей разбить сердце Шэрон, но ему еще сегодня многое предстояло.

Камю достоин всяческого восхищения, и когда Шэрон с Клемом обсуждали его мышление, оно казалось логичным. Но наедине с собой Клем понимал, в чем заблуждался Камю. Потому ли, что он француз, Камю был тайным картезианцем – утверждал, что существует единое сознание, которое рационально объясняет моральный выбор, при том что подлинные мотивы человеческих поступков, по сути, сложны и не поддаются контролю. Клем позаимствовал у Шэрон веский моральный довод в пользу отказа от студенческой отсрочки. Но не будь у

него иной причины, кроме этого морального довода, он не написал бы призывной комиссии. Были ведь и другие веские альтернативы. К примеру, он мог бы привлечь внимание общества к аморальности подобных отсрочек, мог бы порвать с Шэрон потому лишь, что эти отношения мешают ему учиться. Тот же выбор, который он *сделал*, метил напрямиком в отца.

Шестнадцать с лишним лет – почти всю жизнь – Клема в отце восхищала именно сила. В самом начале, в Индиане, где дом священника разваливался быстрее, чем отец успевал ремонтировать, Клем с благоговением и даже страхом наблюдал, как бугрятся огромные папины мышцы и вздуваются жилы, когда тот взмахивает киркой или забивает гвоздь, как с него потоками льется пот, когда он жарким августовским днем косит бурьян. Пот имел своеобразный, неопределимый запах – не противный, скорее похожий на запах проклюнувшихся поганок или дождя, – но мощь его все же смущала Клема. (Гораздо позже, когда он работал в питомнике в Нью-Проспекте, Клем с изумлением обнаружил, что и от его пропотевшей футболки исходит тот же душок. Насколько он знал, в мире так пахнут всего два человека, он и его отец. Интересно, подумал Клем, различает ли еще кто-нибудь этот запах.) Одним толчком отец отправлял качели с Клемом в такую высь, что мальчик от испуга хватался за цепи. Одним легким движением запястья он с такой силой посылал сыну бейсбольный мяч, что тот впивался Клему в ладонь через рукавицу. А как он кричал! Стоило отцу в гневе повысить голос (всегда на Клема, никогда на Бекки), казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут – поневоле пожалеешь, что отец считает неправильным шлепать детей: лучше уж отшлепал бы.

В Чикаго Клему привелось оценить и силу отцовского духа. Прочитав в средней школе “Убить пересмешника”, он с гордостью узнал в Аттикусе Финче отца. Политические взгляды Клема были точной копией взглядов отца, а те уж наверное были искренними, раз выдержали материны похвалы. Он разделял отцово неприятие войны во Вьетнаме и веру в то, что главное сейчас – бороться за гражданские права. Когда отец затеял кампанию против сегрегации в общественном бассейне Нью-Проспекта, Клем ходил по домам, звонил в двери, раздавал брошюры, слово в слово повторял высказывания отца о расовых предрассудках. И хотя размах деятельности у Клема был не тот, что у отца, и кафедры, с которой можно было бы читать проповеди, у него не было, и на автобусе в Алабаму он тоже не ездил, однако в малом он следовал его примеру. Качки из Лифтона, издевавшиеся над *недиками* и *слабаками*, быстро смекнули, что от него лучше держаться подальше. Стоило Клему увидеть, как цепляются к слабым, и он распалялся гневом, не замечал боли, так что в драке вполне мог постоять за себя. Ребята, которых он защищал, даже не были ему друзьями: изгоями они сделались не случайно. Он вступался за них потому лишь, что отец научил его: так нужно.

Они вздорили только из-за религии и из-за Бекки. Клему любая метафизика казалась чужью – и Бог Отец, и уж тем более нелепый Святой Дух, – а из-за Бекки у них не заладилось с самого начала: отец то ли ревновал ее к Клему, то ли слишком над нею трясся. Оставаясь наедине с Бекки, Клем замечал в себе своеобразную двойственность. Он набросился бы с кулаками на любого, кто скажет хоть слово против его отца, но постоянно старался подорвать уважение сестры к отцовской вере. Самое странное, что взгляды его были, по сути, христианскими. Он восхищался Иисусом как духовным учителем, как защитником нищих и парий. Но в нем таился упрямый бесенок, язвительно противоречащее альтер эго, дававшее о себе знать, когда они оставались вдвоем с Бекки. Клем втолковывал ей, что не существует ни доказательств существования духовных сил, ни неопровержимых фактов, подтверждающих истинность библейских легенд, что бытие Божие в целом недоказуемо, а “чудеса” невозможно проверить научными экспериментами, – и преуспел. Он сделал из Бекки маленькую атеистку, и это тоже их объединяло, это тоже нравилось ему в сестре – как она кривила губки всякий раз, когда за обеденным столом заходила речь о Боге.

И если Клем из осторожности не заявлял о себе как об атеисте, то отчасти из уважения к Иисусу, а отчасти потому что им с отцом отлично работалось вместе. Отец терпеливо учил его

пользоваться инструментами, и Клем, как бы ни уставал, никогда первым не прекращал работу, когда они копали землю, сгребали листву или красили стены. Ему хотелось заслужить одобрение отца – и за политические взгляды, и за отношение к труду, – и он ценил, что отец высказывает одобрение так часто и так горячо: в этом смысле лучшего отца нельзя было и желать. Когда Клем пошел в десятый класс, а отцу вздумалось поставить перед церковной молодежной общиной новую цель, поездку в трудовой лагерь в Аризону, Клем рассудил, что никакая метафизика не мешает ему присоединиться.

Примерно тогда же к ним пришел Рик Эмброуз. В первый год, пока Эмброуз учился в семинарии, а обязанности наставника исполнял лишь в свободное время, он стригся коротко, брился и не перечил помощнику священника. Но на следующее лето, после политических волнений (Клем агитировал за Юджина Маккарти¹⁷, помогал отцу, которому рассекли губу, когда тот пытался разнять стычку между копами и протестующими в Грант-парке) Эмброуз вернулся в общину с усами, как у Фу Манчу, и длинными волосами. Некоторые ребята из церкви, а именно Таннер Эванс, переняли его стиль. На вечерних воскресных сборищах начались скандалы, появилась нетерпимость к авторитетам, длинноволосые парни из других церквей (или вовсе не из церквей) позволяли себе орать, но Клему и в голову не приходило беспокоиться за отца. Кому какое дело, что рукоположенный священник по-прежнему приносит с собой Библию и каждую встречу начинает с метафизической молитвы? Мартин Лютер Кинг верил в Бога, и его из-за этого меньше уважать не стали. Клем не знал никого, кто добивался бы социальной справедливости так же рьяно, как отец, да и если любишь кого-то, человека целиком, то принимаешь со всеми мелкими недостатками, которые, может, и хотел бы изменить. Клем видел, как ребята закатывали глаза, когда отец на собрании общины заводил речь о Боге, но точно так же закатывала глаза и Бекки. Это ведь не значило, что она не любит отца.

К весне 1969 года группа разрослась настолько, что в первый день пасхальных каникул на парковке у церкви ее дожидались два арендованных автобуса. Планировалось поехать в два разных трудовых лагеря в Аризоне, так что имело смысл разделить группу в зависимости от места назначения. Однако быстро выяснилось, что один автобус классный – стал таковым, когда Эмброуз бросил рядом с ним свой багаж, и его тут же обступила компания Таннера Эванса, – а второй нет, в нем оказались Клем с отцом и ребята попроще из Первой реформатской. Для Клема автобус был всего лишь средством передвижения к разреженному воздуху плоскогорья, запаху сосен и жареного хлеба, возможности потаскать камни и позабывать гвозди на благо людей, которых его страна некогда грабила и притесняла. А все эти разговоры – кто классный, кто нет – казались ему ребячеством. В Нью-Проспекте не было человека, который играл бы такую же роль в обществе, как Бекки, и по рассказам сестры Клем знал наверняка, что популярные ребята по-человечески ничем не лучше непопулярных. У него была Бекки, и он никогда не лез из кожи вон, стараясь завести друзей в школе, а те немногие хорошие друзья, которые у него были, не принадлежали к молодежной общине, но он поддерживал дружеские отношения со многими из ребят попроще. Даже угрюмая толстуха, даже заядлый шутник, даже инфантильный болтун скажет что-нибудь интересное, если дать ему успокоиться и удосужиться его выслушать. Так поступил бы Иисус, и Клем с удовольствием следовал его примеру.

Однако отца в простецком автобусе что-то явно тревожило, не давало ему покоя. Их водитель ехал чуть медленнее другого водителя, отец сидел сразу за ним, то и дело наклонял голову, поглядывал на дорогу, точно боялся опоздать. Клем рано заснул. Проснувшись ночью и обнаружив, что отец по-прежнему смотрит в лобовое стекло, списал это на волнение, нетерпение. Правда выяснилась лишь утром, когда их автобус догнал автобус Эмброуза на стоянке грузовиков в Панхандле и отец заставил Эмброуза поменяться местами.

¹⁷ Юджин Джозеф Маккарти (1916–2005) – американский политик, лидер леволиберального крыла Демократической партии.

Теоретически в этом не было ничего страшного. Отец – руководитель группы, так что, пожалуй, даже правильно, если он почтит пастырским присутствием второй автобус. Но когда Клем увидел, с каким пылом отец запрыгнул в тот автобус, даже не оглянувшись напоследок, что-то перевернулось в его душе. Он нутром почувствовал: отец пересел в другой автобус вовсе не потому, что так правильно. А потому что эгоистично хотел туда пересестись.

Вечером, когда они въехали в Раф-Рок, предчувствия Клема подтвердились самым ужасным образом. В темноте, в освещенном фарами облаке пыли поднялась суматоха из-за багажа, потому что группе предстояло разделиться на две части: одна оставалась в Раф-Роке с его отцом, вторая вместе с Эмброузом отправлялась в поселение в Китсилли на плоскогорье. Когда неделями ранее все записывались в ту или иную группу, Клем выбрал Китсилли, потому что его устраивали тамошние суровые условия, большинство же ребят, садившихся в автобус до Китсилли, выбрали его из-за Эмброуза. В том числе и Таннер Эванс с Лорой Добрински, их друзья-музыканты и самые красивые девушки из группы. Автобус был набит битком и готов тронуться в путь, ждали только Эмброуза, как вдруг в салон поднялся отец Клема с вещмешком.

Планы изменились, пояснил он. Будет лучше, если он возглавит группу в Китсилли, а Рик останется в Раф-Роке, где есть общежитие. Автобус ошеломленно затих, потом взорвался возмущенными криками Лоры Добрински и ее друзей, но поздно. Водитель закрыл дверь. Отец уселся рядом с Клемом, на месте возле прохода, и похлопал его по коленке. “Вот и славно, – сказал он. – Мы с тобой целую неделю будем вместе. Так лучше, правда?”

Клем ничего не ответил. Из глубины салона донесся настойчивый, раздраженный девичий шепот. Отец загнал Клема в ловушку, и ему казалось, что он умрет, если не выберется с этого места возле окна. Он впервые стыдился отца, и от этого нового чувства ему было мучительно больно. Дело вовсе не в том, что подумают о нем классные ребята. А в том, что отец показал себя слабаком, когда, злоупотребив своей мелочной властью, присвоил их автобус. И теперь *использует* сына, притворяясь заботливым отцом, словно ничего такого не сделал.

Притворство продолжилось и на плоскогорье. Старик словно не желал замечать, как презирает его китсильская группа за то, что он занял место Эмброуза. Он словно и не догадывался, что ему почти пятьдесят, он в два раза старше Эмброуза и не может его заменить. Ну да, он полон сил – возвращение на плоскогорье, общение с индейцами навахо, земля, которую он любит, всегда его бодрит. Но каждое утро, когда он собирал трудовые группы, никто ни разу по доброй воле не присоединился к той, в которой был он. Стоило ему проявить инициативу, организовать группу, начать укладывать инструменты и продовольствие на день, как случалась забавная штука: все девушки, дружившие с Лорой Добрински, менялись местами с кем-нибудь из другой группы. Наверняка отец это замечал, но ни разу не сказал ни слова. Может, трусил раздувать скандал. Или же его не волновало, что о нем подумают девушки. Может, он всего лишь хотел помешать им провести неделю с их любимым Эмброузом.

Клем тоже возглавил группу – единственный из подростков, кому отец доверил такую ответственность. Год назад Клему польстило бы такое доверие, теперь же он радовался лишь, что не попадет в группу к отцу. Днем тяжелый физический труд притуплял страх вернуться в здание школы, где поселилась группа, но в столовой его неизменно ждал позор. Принципы обязывали его ужинать вместе с отцом (остальные его избегали) и покорно поддерживать обманчиво-задушевные беседы о канаве, которую отец копал для сточной трубы. Видя, как сверстники ужинают и смеются, Клем чувствовал себя непривычно отверженным. И мечтал, чтобы его отцом был кто-то другой – кто угодно.

После ужина группа по заведенной в общине традиции собиралась вокруг горящей свечи, делилась чувствами и мыслями о прошедшем дне. Каждый вечер в Китсилли популярные девушки отгораживались стеной молчания. К концу недели отец дошел до того, что спросил самую красивую из них, Салли Перкинс, не хочет ли она что-нибудь сказать группе. Салли

установилась на свечу и покачала головой. Отказ отвечать был настолько вызывающим, а напряжение вокруг свечи настолько велико, что назревала полноценная ссора, но Таннер Эванс ошибочно чувствовал, когда взять аккорд на двенадцатиструнке и запеть песню.

Если отец Клема и обрадовался, что ссоры удалось избежать, то зря. Она разразилась десять дней спустя, на первом воскресном собрании после поездки в Аризону, и оттого, что прежде ее подавили, оказалась ожесточеннее. Вечер выдался непривычно жаркий для апреля, в комнате, где собиралась община, было душно и пахло стропилами, точно на чердаке. Всем не терпелось спуститься в зал для занятий, так что, когда отец Клема вышел вперед, чтобы, как всегда, начать собрание с молитвы, почти все замолчали. Отец взглянул на Салли Перкинс и ее подружек, которые продолжали болтать, и возвысил голос:

– Отче наш, – произнес он.

– В этой комнате не мешало бы повесить кондиционер, – громко сказала Салли Лоре Добрински.

– Салли, – рявкнул из угла Эмброуз.

– Что?

– Тише!

Отец Клема, помолчав, начал снова:

– Отче наш...

– Нет! – перебила Салли. – Извините, но нет. Меня тошнит от его дурацких молитв. – Она вскочила, обвела глазами комнату. – Кого еще тошнит от них так же, как меня? Он испортил мне поездку. И если он сейчас же не замолчит, меня в прямом смысле вырвет.

В ее голосе сквозило такое презрение, что все онемели от ужаса. Что бы ни происходило в стране в целом, как бы дерзко ни ставили под сомнение авторитет властей, никто не отважился так вести себя в церкви.

– Меня тоже от них тошнит. – Лора Добрински встала. – Значит, нас уже двое. Кто еще?

Разом поднялись все популярные девушки. Жара в комнате душила Клема. Лора Добрински обратилась к его отцу:

– И молодым навахо вы тоже не нравитесь, – сказала она. – Их тошнит от вашей помощи. Они не хотят, чтобы белый мужик снисходительно объяснял им, чего хочет от них его белый Бог. Вы вообще понимаете, как выглядите со стороны? К старикам вы, может, и находили подход, но это было раньше. А может, их и сейчас все устраивает. Но они *старики*. Теперь эта миссионерская фигня даром никому не нужна.

Рик Эмброуз, скрестив руки на груди, разглядывал собственные ботинки. Отец Клема побледнел.

– Можно я кое-что скажу? – спросил он.

– Может, в кои-то веки послушаете других? – парировала Лора.

– Пусть я больше ни на что не гожусь, но уж слушать-то я умею. Слушать – это мой долг.

– Тогда почему бы вам не послушать себя самого? Что-то незаметно, чтобы вы это делали.

– Лора... – произнес Эмброуз.

Лора напустилась на него.

– Вы его защищаете? Потому что он этот, как его... рукоположенный священник? Как по мне, это недостаток.

– Если у тебя претензии к Рассу, – заявил Эмброуз, – тебе следует прямо сказать ему об этом.

– Я и говорю.

– С глазу на глаз.

– Еще чего! Мне это неинтересно. – Лора вновь обратилась к отцу Клема: – Мне неинтересно с вами общаться.

– Мне очень жаль это слышать, Лора.

– Да ну? По-моему, я тут не одна такая.

– Мне тоже неинтересно, – вставила Салли Перкинс. – Я тоже не хочу с вами общаться. Я вообще не хочу оставаться в этой группе, если в ней будете вы.

Большая часть группы поднялась. Крик Эмброуза перекрыл общий гомон.

– СЯДЬТЕ! А НУ СЕЛИ И ЗАТКНУЛИСЬ НА ХРЕН!

Ребята послушались. Формально Эмброуз подчинялся отцу Клема, но вся группа знала, кто на самом деле тут главный, кто силен, а кто слаб.

– Мы сегодня пропустим молитву, – продолжал Эмброуз. – Расс, ты не против?

Старик смиренно кивнул. Слабак! Слабак!

– Вы нас не слушаете, – не унималась Лора Добрински. – И не понимаете. Мы же сказали: или *он*, или *мы*.

Послышались одобрительные крики, и Клем не выдержал. Пусть в Аризоне он стыдился отца, но все же не мог смотреть, как издеваются над слабым. Клем помахал рукой.

– Можно я тоже скажу?

В тот же миг все уставились на него. Эмброуз кивнул, и Клем неуверенно встал, лицо его пылало.

– Поверить не могу, что вы такие злые, – сказал он. – Значит, уйдете, потому что не хотите две минуты послушать молитву? Я тоже не хочу ее слушать, но я тут не ради молитв. Я здесь потому, что мы – община, посвятившая себя служению бедным и угнетенным. И знаете что? Мой отец служил им, когда некоторые из вас еще не родились. И предан своему делу, как никто в этой комнате. По-моему, это чего-то стоит.

Клем сел. Девушка рядом с ним сочувственно коснулась его руки.

– Клем прав, – заметил Эмброуз. – Мы должны уважать друг друга. И если нам не хватает смелости дружно разобраться в этом, мы не достойны называться общиной.

Салли Перкинс не сводила глаз с отца Клема. Похоже, она находила жестокое удовлетворение в том, что он не может на нее смотреть.

– Нет, – сказала она.

– Салли, – произнес Эмброуз.

– Давайте голосовать, – продолжала Салли. – Кто хочет остаться в группе, если в ней будет *он*!

– Никакого голосования, – отрезал Эмброуз.

– Тогда я ухожу.

Она снова встала. А следом за ней поднялось больше половины группы. Отец Клема страдальчески округлил глаза.

– Мне бы хотелось сказать кое-что, – проговорил он. – Выслушайте меня, хорошо? Уж не знаю, откуда это идет...

Лора Добрински рассмеялась и вышла из комнаты.

– Мне жаль, если я не такой, каким вы хотите меня видеть, – продолжал Клемов старик. – Уверен, мне есть чему у вас поучиться. Я очень дорожу этой группой. Мы делаем важное дело, и я бы хотел, чтобы так и продолжалось. Если вам угодно, чтобы Рик читал молитву или возглавлял группу, я не против. Но если вам важно личностное развитие, я тоже хотел бы иметь возможность узнать, что это. И прошу вас дать мне такую возможность.

Клем окаменел в буквальном смысле: казалось, ударь его сейчас молотком, он разобьется на части. Его отец *умолял*. Причем напрасно. Салли Перкинс ушла, а за нею устремилась половина группы, толкаясь в дверях, словно всем не терпелось присоединиться к Салли. Клемов старик наблюдал это, онемев от животного изумления.

Эмброуз, оказавшийся в незавидном положении, предложил Рассу провести упражнение на дыхание, а он сам вразумит отступников. И старик снова покорно кивнул. Эмброуз вышел, и Клем с изумлением отметил, что среди оставшихся – Таннер Эванс.

– Я хочу, чтобы мы подышали, – произнес старик дрожащим голосом. – Я лягу – мы все ляжем и закроем глаза. Готовы?

Он должен был продолжать говорить, направлять группу во время упражнения, но в комнате слышалось лишь бормотанье отступников внизу. Клем лежал в жаркой комнате, старался дышать, но мысли его устремились к Бекки: отец всегда хотел стать ее лучшим другом и злился, что Клем тоже ее лучший друг, старик силился развести Бекки и Клема, стать лучшим другом каждому из них по отдельности, и не странно ль, что он выделяет именно их, ведь Бекки популярна, а Клем сам по себе. Ни он, ни она не нуждались в особом внимании, в отличие от их младшего брата. Перри был богат дарованиями, но беден духовно, и отец, на людях подчеркивавший необходимость заботиться о бедных, в Перри видел лишь недостатки. Теперь то же самое случилось в общине. Вместо того чтобы помогать тем, кто нуждается во внимании, отец попытался отбить популярных ребят у Эмброуза, забрать их себе. Он не просто слабак. Он омерзительный высоконравственный мошенник.

Услышав шаги, Клем сел и увидел, что отец вслед за Эмброузом вышел из комнаты. Никто даже не притворялся, будто продолжает делать дыхательное упражнение. Таннер Эванс посмотрел на Клема и покачал головой.

– Знаешь что, – сказал Клем, – я не хочу об этом говорить. Давайте не будем, ладно?

Ребята забормотали с облегчением. Сверстники его понимали.

– Группу я не брошу, – продолжал Клем. – Но сейчас, пожалуй, пойду домой.

Пошатаваясь, он вышел из комнаты и спустился по лестнице, точно его по болезни отпустили с занятий. Дома направился напрямик к себе, запер дверь, взял роман Артура Кларка, который позаимствовал в библиотеке, и погрузился в чужой мир. Через два часа в дверь постучали.

– Клем! – позвал отец.

– Уходи.

– Можно войти?

– Нет. Я читаю.

– Я всего лишь хочу тебя поблагодарить. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты сегодня сказал. Может, откроешь дверь?

– Нет. Уходи.

Боль, которую причинила ему отцовская слабость, походила на недуг и долго не утихала. На собрании в следующее воскресенье Клем напоминал самому себе Тима Шеффера, парня из группы, которому вырезали опухоль мозга, он еще два месяца ходил на собрания, а потом умер. Во время упражнений на укрепление доверия все стремились быть в паре с Клемом, и если ему не хотелось изливать душу, никто его не упрекал. Рик Эмброуз сказал ему с глазу на глаз, что знавал немного поступков сильнее и смелее того, который совершил Клем, встав на защиту отца. Эмброуз по-прежнему доверял ему, просил его помощи в организационных вопросах, постоянно дружески подшучивал над его атеизмом. Эмброуз понимал: парню нужен взрослый, который заменит ему отца, хотя Клем с Эмброузом никогда это не обсуждали.

Клем уже не уважал старика. Подметив его глубинную слабость, он теперь видел ее во всем. Видел, как старик, злоупотребляя вежливостью Бекки, тащит ее на воскресные прогулки, видел, как он сторонится матери на церковных праздниках и болтает с чужими женами, слышал, как очерняет Рика Эмброуза, потому что тот нравится молодежи, слышал, как напоминает тем, кому не требуются напоминовения, как участвовал в демонстрациях вместе со Стокли

Кармайклом¹⁸ и добился отмены сегрегации в плавательном бассейне, видел, как в ванной старик любуется на себя в зеркало, кончиками пальцев трогает кустистые брови. Человек, чьей силой Клем некогда восхищался, теперь казался ему живым пятном вопиющего позора. Клему невыносимо было находиться с ним в одной комнате. И от студенческой отсрочки он отказался, чтобы отец увидел, как поступают сильные.

Дым в чикагском автобусе и погода снаружи подчеркивали ранние сумерки. Падавший на кукурузные поля снег затуманивал и пятнал борозды, стерню, амбары вдали. Сидевшая за Клемом малышка придумала словечко “бу” и влюбилась в него. Через идеально выверенные паузы она повторяла “бу!” и взвизгивала от восторга, не давая Клему заснуть. Без всяких решительных действий Клема автобус нес его вперед, к необходимости сообщить родителям о письме в призывную комиссию, уносил его прочь от того, как жестоко он обошелся с Шэрон. Сейчас он еще яснее видел всю глубину своей жестокости, еще сильнее мучился. Единственное облегчение, о котором он мог помыслить, заключалось в благословении Бекки.

Сама себе отвратительная, страдающая ожирением особа, а именно Мэрион, выбежала из дома приходского священника. На завтрак она сжевала крутое яйцо и гренки, очень медленно, кусочек за кусочком, по совету журналистки “Редбука”, утверждавшей, будто за десять месяцев сбросила сорок фунтов; журнал опубликовал ее фотографию в похолодевшем наряде Барбареллы в спортивном костюме, подчеркивавшем ее фантастическую осиную талию; эта же авторша советовала вместо ланча выпивать стакан рекламируемого на всю Америку напитка для похудения, посвящать три часа в неделю энергичным физическим упражнениям, повторять мантры вроде “Во рту мелькнет, а с бедер не сойдет”, покупать и заворачивать для себя подарочки, открывать, когда удастся сбросить определенное количество фунтов. Из всех подарков, которыми можно было бы себя вознаградить, Мэрион хотела разве что десятилетний запас снотворного, однако по вторникам и четвергам прилежно посещала утренние тренировки в Пресвитерианской церкви, пошла бы и сегодня, не будь Джадсон дома. Лишенная половины сэндвича – как положено, с майонезом, на которую ей дал бы право час сжигания калорий в Пресвитерианской, – она перекусила двумя стебельками сельдерея, замазав их углубления сливочным сыром. И совсем было собралась уйти, скользнуть с горки в день без соблазнов, но одно из печений, которые они испекли с Джадсоном, сломалось пополам. Оно остывало на решетке, среди целых собратьев, и Мэрион сжалась над ним. Ведь она была его творцом, и съесть его было даже милосердно. Но от сладкого у нее разгорелся аппетит. Когда наконец ее настигло отвращение к самой себе, она уже съела пять печений.

В теннисных туфлях и латаном-перелатаном габардиновом пальто она прошла мимо деревьев, кора которых темнела от конденсированной влаги, мимо фасадов жилых домов, уже не суливших прочность брака, как в сороковые, когда их только построили. Походку ее нельзя было назвать стремительной, она шла вперевалку, но хотя бы не боялась, что ее заметят. Никто не подумает дурного о жене пастора, которая идет куда-то одна, – разве что пожалеют за то, что у нее нет машины. Познакомившись с ней и поняв, какое место она занимает в обществе (в самом верхе исключительно важной шкалы приятности, ровнехонько на отметке “очень приятная женщина”), люди переставали ее замечать. С точки зрения сексуальности не существовало такого ракурса, в котором некий мужчина на улице обратил бы на нее внимание и захотел бы увидеть ее в ином ракурсе – впрочем, это ничуть не утишало переживаний из-за того, что с нею сотворило время и она сама. В этом смысле ее не замечал даже муж. Дети тоже не замечали: они видели ее точно в густом теплом облаке мамства, скрывавшем ее черты. И хотя в Нью-Проспекте вряд ли нашелся бы хоть один человек, питавший к ней неприязнь, у Мэрион не было никого, кого она могла бы назвать близким другом. Денег у нее всегда водилось мало,

¹⁸ Стокли Кармайкл (1941–1998) – американский общественный деятель, участник движения за гражданские права. В 1960-е участвовал в демонстрациях против расовой сегрегации.

а оборотной монеты дружбы – и того меньше, тех маленьких секретов, из которых складывается фонд дружеского доверия. У нее была масса секретов, но все они слишком велики, и жена пастора не могла бестрепетно ими поделиться.

Друзей ей заменял психиатр, к которому Мэрион ходила тайком и сейчас как раз опаздывала. Бегать она не любила, ей не нравилось, как трясутся и тянут книзу тяжелые части тела, но, повернув на Мейпл-авеню, припустила трусцой, предположительно сжигавшей больше калорий на единицу расстояния, чем ходьба. Дома на Мейпл соревновались, какой лучше украшен, перила, кусты и края крыш поразил зеленый пластмассовый плющ в блеклых фруктах. Мэрион было невдомек, что очарование горящих по вечерам рождественских гирлянд с лихвой компенсирует уродство этих конструкций в светлое время суток, не такое уж и короткое. Невдомек ей было и то, что восторженное волнение, с каким дети ждут Рождества, с лихвой искупает его тоскливую скуку во взрослой жизни, тоже не такой уж короткой.

На Пирсиг-авеню она перешла на шаг. О ее визитах к психиатру во всем Нью-Проспекте знал один-единственный человек: секретарша преуспевающей стоматологической клиники Косты Серафимидеса, расположенной в приземистом кирпичном здании у вокзала. Жена доктора Серафимидеса, психиатр София, принимала пациентов в кабинетике без таблички на двери, а слева и справа от него, в точно таких же кабинетах, убирали зубной налет и ставили пломбы. Заметить кто Мэрион в приемной, решил бы, что она пришла сюда именно за этим. Оказавшись в кабинете Софии, Мэрион слышала скрип резиновых подошв по полу, визг шнуров,двигающихся по шкивам, чувствовала приятный запах дезинфицирующего средства, характерный для стоматологических клиник. В кабинете Софии стояли два кожаных кресла, шкафы со справочными изданиями, низкий комод с глубокими ящиками, полными лекарств, на стенах висели дипломы в рамках (София Серафимидес, доктор медицины). Ни дать ни взять, модернизированная исповедаляня, не слишком-то уединенное место, чтобы выскрести в нем содержимое чужой головы, и плату здесь взимали не будущими “Аве Мария”, а наличными на месте.

В двадцать с небольшим Мэрион была ревностной католичкой. Тогда она верила, что Христос спас ей жизнь (или как минимум рассудок), но потом, познакомившись с Рассом и превратившись в умеренную протестантку, сочла свой юношеский католицизм разновидностью помешательства, менее вредной, чем та, что в двадцать лет довела ее до лечебницы, но все же нездоровой. Как будто во время стадии католичества она обитала в подвале, из которого самый солнечный день казался мрачным. Она была одержима идеей греха и искупления, склонна изумляться значительности незначительных вещей – листика, что упал с дерева прямо к ее ногам, песни, которую в один и тот же день услышала в двух разных местах, – и параноидальным ощущением, будто бы Бог следит за каждым ее шагом. Когда она влюбилась в Расса и в браке с ним получила удивительно конкретные дары Божьи, рожая одного за другим здоровых детей (хотя достаточно было бы и одного – настолько каждый из них оказался прекрасен), она закрыла мысленную дверь в те годы, когда солнце померкло и единственным ее другом, если, конечно, можно назвать другом предвечную Сущность, был Господь. И о той беспрестанно молившейся девице, какой Мэрион была в двадцать два, она вспоминала разве что радуясь, что уже не такая.

Лишь прошлой весной, когда у Перри началась бессонница и неприятности в школе, она открыла ту мысленную дверь, чтобы сравнить его симптомы с теми, которые помнила у себя, и лишь после первого визита к Софии Серафимидес, в кабинетик, пропахший стоматологической клиникой, Мэрион прямо-таки с ностальгией вспомнила годы своего католичества. Она вспомнила, как успокаивало ее происходящее в исповедальне, как она обожала монументальную доктрину Церкви, величественность ее истории, по сравнению с которой ее собственные грехи, какими бы тяжкими ни были, казались капельками в огромном ведре, – с массой прецедентов, вдобавок, что удобнее, старинных. Христианство в том виде, в каком его исповедовал и проповедовал Расс, не придавало большого значения греху. Интеллектуально ее долго

вдохновляла убежденность Рассы, что проповедь общности и любви ближе к учению Христа, нежели проповедь вины и вечных мук. Но в последнее время Мэрион засомневалась. Она любила детей больше, чем Иисуса, чья божественная природа оставалась для нее под вопросом и в чье воскресение из мертвых она не верила вовсе, но при этом всем сердцем верила в Бога. Она все время чувствовала Его присутствие в себе и вокруг себя. Бог *рядом* – сейчас, когда ей пятьдесят, не менее чем в ее двадцать два. Любить Бога хотя бы чуть-чуть, хотя бы когда ей случалось задаться вопросом, а любит ли она Бога, значило любить Его больше всех людей на земле, даже больше собственных детей, поскольку Бог бесконечен. Она гадала, не совершают ли ошибку хорошие протестантские церкви вроде Первой реформатской, придавая такое значение нравственному учению Христа и в некотором смысле отклоняясь от понятия смертельного греха. Понятие вины в Первой реформатской не так уж отличалось от понятия вины в “Обществе этической культуры”¹⁹. Разновидности либеральной вины как чувства, побуждающего людей помогать тем, кому повезло меньше. Для католика вина – не просто чувство. Это неизбежное следствие греха. Объективное явление, которое Бог отлично видит. Он видел, как она съела шесть сахарных печений, и имя ее греху было обжорство.

Она шагала по Пирсиг-авеню через торговый район, стараясь не смотреть на витрины магазинов: выставленные в них товары укоряли ее за подарки, которые она вручит детям. Правда, Расс возражал против того, чтобы Рождество использовали для личной выгоды, и выделял на подарки скудные средства, но это жестоко по отношению к детям, особенно к Джадсону, который растет в таком богатом пригороде. Она купила ему настольный футбол, продавец в магазине игрушек уверял ее, что об этом мечтает любой мальчишка, но такой умница, как Джадсон, наверняка быстро в него наиграется. Бекки она купила миленький чемоданчик, на который снизили цену, вероятно, потому что в силу размера он был бесполезен. Клему, как символ его научных устремлений, и зная, какой он серьезный парень, как безразличен к внешнему виду, она купила подержанный микроскоп, наверняка устаревший по сравнению с теми, что есть у него в университете. А Перри – о, Перри хотел столько всяких вещей и всем им нашел бы творческое применение, и был так внимателен к ней, так ее чувствовал, что намекал только на те подарки, которые она могла себе позволить. Она купила ему наидешевейший магнитофон: такие магнитофоны владельцы магазинов техники выставляют в витрине, чтобы покупатели других магнитофонов понимали – они выбрали далеко не худший. И все это время – *все это время!* – в глубине ящика с чулками лежал конверт с восемью сотнями долларов, которые она не успела потратить на занятия с Софией Серафимидес: Мэрион платила ей за то, чтобы та с ней дружила.

Под эгоизмом таились круги вины. Она лгала и крала, а однажды сделала и кое-что похуже. Она лгала мужу с самого их знакомства и не далее как пятнадцать минут назад, направляясь к двери, солгала дочери: мол, опаздываю на тренировку. Она действительно опаздывала. На два часа опаздывала на занятие продолжительностью в час! В кармане ее габардинового пальто лежали двадцать долларов из той тысячи четырехсот, которые ювелир с Уобаш-авеню дал ей за жемчуга и бриллиантовые кольца сестры (Мэрион отложила их в сторонку, когда забирала вещи из квартиры сестры в Манхэттене). В тот момент, будучи душеприказчицей, она сказала себе, что исправляет допущенную сестрой несправедливость, Бекки и так получит слишком много денег, дорогие украшения ей ни к чему. Эту кражу можно было бы простить, потратить Мэрион деньги на Перри, Клема и Джадсона, как собиралась, да им Шерли не оставила ничего. Но в июне, после первого часа с Софией, когда та предположила, что еженедельные занятия полезнее рецепта снотворных, рассказала о скользящей шкале расценок и спросила

¹⁹ Общество этической культуры (осн.1876) – организация, цель которой – проповедью и личным примером участников укреплять в людях, независимо от их конфессиональной принадлежности, высшие нравственные идеалы. Основатель—Феликс Адлер (1851–1933), американский философ, политолог, общественный деятель.

Мэрион, сможет ли она тратить на это, скажем, двадцать долларов в неделю, а Мэрион ответила, что у нее действительно есть кое-какие личные средства, стало бессмысленно отрицать злонамеренность ее кражи.

Благодаря пробежке по Мейпл-авеню она вошла в стоматологическую клинику, опоздав всего лишь на пять минут. На парковке было свободнее обычного, в приемной сидели только мать и сын, который читал детский журнал и явно не боялся ожидающих его зубоврачебных мук. Мать с сыном были чернокожие, и это свидетельствовало о либерализме Серафимидесов, благодаря образованию вырвавшихся не только в благополучный пригород Чикаго, но (Мэрион знала об этом, потому что спрашивала) и из лона греческой православной церкви своего детства; они принадлежали к “Обществу этической культуры”. Секретарша, образец благоразумия, гречанка, разменявшая седьмой десяток, молча кивнула Мэрион, разрешая войти в святая святых.

София Серафимидес, пышка, еле помещавшаяся в кресле, была смуглая, с копной седых кудрей. Раскопав ее в “Желтых страницах”, Мэрион подивилась ее ангельской фамилии, но выбрала из-за имени. Мужчины-психиатры, лечившие ее в Лос-Анджелесе, держались с ней так нестерпимо надменно, что Мэрион только диву давалась, как ей удалось выздороветь в таких условиях. Найти в Нью-Проспекте женщину-психиатра – не иначе как чудо, и если она переносила на Софию разногласия с нелюбящей, избегающей ее матерью, которая умерла в 1961 году от болезни печени, давно прервав всякое общение с Мэрион, ей еще предстояло это осознать. София Серафимидес была сама общительность. Она излучала – воплощала – средиземноморское тепло и здравый смысл, что само по себе бывает невыносимо, но не в том смысле, в котором Мэрион поставила бы ей это в упрек.

Ничто так не радовало эту пышку, как пересказ свежего сна, но сегодня у Мэрион не было для нее снов, вдобавок она предпочитала исповедь. Повесив пальто, она села и призналась, что пришла в спортивном костюме, так как вынуждена была солгать Бекки насчет того, куда идет. Она призналась, что сожрала шесть сахарных печений – затолкала в рот, набила брюхо. В ответ на эти признания София приветливо улыбнулась и сказала:

– Рождество бывает раз в году.

– Я знаю, вы думаете, я слишком на этом заикнулась, – продолжала Мэрион. – Я знаю, вы считаете, это не имеет значения. Но знаете, сколько я весила сегодня утром? Сто сорок три фунта! С сентября морю себя голодом, приседаю, качаю пресс, не ем сладкого – и за эти три месяца сбросила всего шесть фунтов.

– Мы уже говорили о подсчетах. О том, как цифрами мы наказываем себя.

– Извините, конечно, но для человека моего роста сто сорок три фунта – это объективно много.

София приветливо улыбнулась, сложила руки на животе, пышность которого, похоже, ничуть ее не смущала.

– Наестся печенья – любопытная реакция на переживания из-за лишнего веса.

– Да меня Бекки достала: она сегодня почему-то вела себя отвратительно. Я бы стерпела, будь она всего лишь раздражительной и скрытной, но вчера вечером звонил Таннер Эванс, искал ее, и я слышала, что вернулась она за полночь, а утром вскочила ни свет ни заря, что на нее не похоже. Она ничего мне не рассказывает, но я же вижу, как она счастлива. И я вспомнила, как прекрасна первая любовь – нет ничего прекраснее на свете.

– Да.

– Таннер отличный парень. Талантливый, ходит в церковь и очень красивый. Когда я вспоминаю свою юность, какой это был кошмар... Бекки совсем другая. Она хороший человек и делает хороший выбор. Я ею горжусь, я радуюсь за нее.

София приветливо улыбнулась.

– Значит, от радости и от гордости вы съели шесть печений.

- Почему бы и нет? Голодай я хоть год, а восемнадцатилетней не стану.
- Вам правда хотелось бы стать восемнадцатилетней?
- Вернуться и стать как Бекки? Отменить всю прожитую жизнь и начать сначала?

Конечно.

Пышка явно хотела возразить, но удержалась.

– Хорошо, – сказала она. – А что еще?

Она уже знала ответ. “Что еще” был Расс. Дожидаясь в приемной, Мэрион не раз видела пациенток, выходящих из клиники с таким несчастным видом, какой вряд ли можно объяснить лечением зубов, – и все эти пациентки были средних лет. Так Мэрион догадалась, что к Софии ходят в основном жены, жены в депрессии, жены, чьи мужья бросили их или вот-вот бросят, поскольку в Нью-Проспекте бушевала эпидемия разводов. Неудивительно, что с такой клиентурой София априори с подозрением относится ко всем мужьям. Молотку всё гвоздь. Во время их первого часа Мэрион чувствовала, что София заранее невлюбила Расса. В последующие часы Мэрион пыталась объяснить, что ее брак тут ни при чем, что Расс не такой, как другие мужья, что его всего-навсего выбило из колеи унижение, пережитое на службе, а София, по своему обыкновению, с приветливой улыбкой спрашивала, почему же в таком случае Мэрион все еще приходит к ней по четвергам поговорить о своем браке, если ей нечего за него опасаться. Наконец в августе Мэрион призналась: на Расса что-то нашло, он словно вдруг распрямился, стал следить за собой, при этом она его явно раздражает, он огрызается на малейшее ее замечание, она уже не знает, что он еще выкинет. София сочла это “прорывом” и милостиво согласилась: пожалуй, Мэрион действительно стоит побороться за свой брак. Она посоветовала ей чаще бывать на людях, больше жить своей жизнью, чтобы Расс увидел ее в новом свете. Быть может, раз с деньгами у них не очень, она найдет работу на полставки? Или поступит в университет на заочное? Сама же Мэрион для сохранения брака рассчитывала сбросить двадцать фунтов к Рождеству. София, которая была намного толще Мэрион и при этом явно все еще казалась привлекательной своему жилистому супругу-дантисту, нехотя одобрила ее план. Если ей так хочется похудеть, то делать это нужно не ради мужа, а ради себя, чтобы научиться распоряжаться своей жизнью.

– По-моему, за завтраком Расс мне соврал, – сказала Мэрион, чтобы сделать приятное своей платной подруге, которая каждую новую жалобу на Расса воспринимала как доказательство продвижения – но к какой цели? К тому, чтобы осознать: моему браку конец? – Когда он спустился, я сразу заметила, что он волнуется. Когда он радуется, он покачивается, как малыш. Или как Элвис – так и виляет бедрами. На нем была рубашка, которую я подарила ему на день рождения, я знала, что она ему пойдет, она голубая, под его голубые глаза, и мне это показалось странным, потому что сегодня ему нужно только навестить прихожан и отвезти подарки в церковь в Чикаго, а вечером мы идем на праздник, но перед этим он все равно переоденется. Я спросила: может, у тебя еще какие-то планы, а он ответил: нет, и тогда я подумала о поездке в Чикаго, потому что в их кружок теперь ходит Фрэнсис Котрелл. Фрэнсис...

– Молодая вдова, – перебила София.

– Именно. Она еще наверняка разрушит чей-нибудь брак, вот записалась в клуб, который ведет Расс, они ездят помогать в бедный район, ну я и спросила, кто еще поедет с ним отвезти подарки. А он словно ждал этого вопроса. Даже не дал мне договорить. “Только Китти Рейнолдс”. Китти тоже в их клубе. Она уже на пенсии, раньше преподавала в старших классах. Меня удивило, что он так быстро ответил. И еще эта рубашка, и ходит враскачку, ну и вот.

– Ну и вот.

– Он никогда о ней не говорит. О Фрэнсис. Я как-то раз видела ее на парковке, когда они уезжали в Чикаго. Он единственный раз упомянул о ней, когда я спросила его про тот вечер.

– Она молода.

– Моложе него. У нее сын-старшеклассник.

– Молодость есть молодость, – заметила София. – Коста любит поговорить о том, как в первый теплый весенний денек женщины выходят на улицу в легких платьях. Мужчине приятно видеть хорошеньких молодых женщин, это поднимает ему настроение. В этом нет ничего дурного. Мне и самой приятно смотреть на эти легкие платья.

Примечательно, что София, всегда бравшая на себя роль обвинителя, когда Мэрион защищала Расса, вдруг так переменилась и теперь, когда Мэрион усомнилась в муже, призывает ее быть снисходительной. Что это, гадала Мэрион, тонкий психологический прием или способ добиться того, чтобы она ходила сюда каждую неделю и платила по двадцать долларов?

– Боюсь, я еще не достигла такого высокого уровня, – раздраженно ответила Мэрион. – Знаете, почему я съела печенье? Потому что за одно утро увидеть счастливой еще и Бекки – это слишком.

– То есть вам было приятнее, когда Расс страдал.

– Наверное... Разве мы с вами решили, что я неплохой человек? Если да, я, должно быть, пропустила.

– Вам кажется, что вы плохой человек.

– Я *знаю*, что я плохой человек. И вы даже не представляете насколько.

Улыбка Софии сменилась строгой гримасой. Она точно знала, когда нужно нахмуриться, как положено психотерапевту, и это было до смешного предсказуемо. Мэрион злило, что с ней обходятся как с ребенком.

– Я могла съесть хоть все печенье, – сказала она. – И я не сделала этого потому лишь, что ничего не осталось бы Джадсону. Но я точно могла бы съесть всё. Шесть фунтов за три месяца голодания, и не то чтобы кто-то это заметил. Не то чтобы я заслуживаю быть стройной. Та мерзость, которую я каждое утро вижу в зеркале, – все, что я заслужила.

София покосилась на блокнот на пружинке, лежащий на приставном столике. Она с лета ничего не записывала в блокнот. Этот взгляд предвещал опасность.

– Кстати, дело не только во мне, – продолжала Мэрион. – Я вообще думаю, что все люди плохие. И что иначе не может быть: человек плох по природе своей. Если бы я правда любила Расса, разве не радовалась бы, видя, что он снова счастлив? Пусть даже увлекся прекрасной молодой вдовой и скрывает от меня это? Получается, на самом деле я не желаю ему счастья. Я хочу лишь, чтобы он меня не бросал. И когда я утром увидела на нем эту рубашку, пожалела, что вообще ее подарила. Если, оставшись со мной, он будет страдать, так пусть страдает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.